

ВОССТАНИЕ АНГЕЛОВ

А. ФРАНС



А. ФРАНС

ВОССТАНИЕ АНГЕЛОВ



АНАТОЛЬ ФРАНС

ВОССТАНИЕ АНГЕЛОВ

*Перевод с французского
Н. Рыковой и З. Шпитальниковой
Под редакцией
И. С. Татариновой*



А С А Д Е М И А
Москва—Ленинград
1 9 3 7

Рисунки Карлемя
Переплет
А. Н. Сафроновой



Глава I,

содержащая в немногих строках историю одной французской семьи с 1789 года до наших дней

Особняк д'Эпарвье подымает три суровых своих этажа под сенью церкви святого Сульпиция, между двором, зеленым от моха, и садом, который с годами все более теснят высокие и ближе надвигающиеся строения и в котором два больших каштана еще тянутся вверх поблекшими кронами. Здесь с 1825 по 1857 год жил великий человек этой семьи, Александр Бюссар-д'Эпарвье, вице-президент Государственного совета при Июльском правительстве,

член Академии моральных и политических наук, автор „Опыта о гражданских и религиозных учреждениях народов“ в трех томах in octavo,—труда, к сожалению, незаконченного.

Этот почтенный теоретик либеральной монархии оставил наследником своего рода, состояния и славы Фульгенция-Адольфа Бюссара-д'Эпарвье, который был сенатором при Второй империи, значительно увеличил свою родовую недвижимость, купив участки, где должно было пройти авеню Императрицы, и произнес замечательную речь в защиту светской власти пап.

У Фульгенция было три сына. Старший, Марк-Александр, поступив на военную службу, сделал блестящую карьеру: он был краснобаем. Второй, Гаэтан, не проявивший никаких особых дарований, жил по большей части в деревне, охотился, держал лошадей, занимался музыкой и живописью. Третий, Рене, с детства предназначенный к магистратуре, подал в чине адъютанта в отставку, чтобы не принимать участия в применении декретов Ферри о конгрегациях; позже, видя, что в президентство Фальера возвращаются дни Деция и Диоклетиана, он положил все свои знания и усердие на служение преследуемой церкви.

Со времени Конкордата 1801 года до последних лет Второй империи все д'Эпарвье ходили к обедне, ради примера. Скептики в душе, они считали религию средством управления. Но Марк и Рене первыми в роде проявили искреннее благочестие. Генерал, еще в бытность полковником, посвятил свой полк „сердцу Иисусову“ и столь ревностно исполнял обряды, что выделялся даже среди военных, а между тем, как известно, набожность, эта дочь небес, избрала своим любимым местопребыванием на земле сердца генералов Третьей республики. Вера также знает превратности судьбы. При старом режиме веровал народ, но не веровали ни дворянство, ни образованная буржуазия. Во время Первой империи армия сверху донизу была безбожной. В наши дни народ не верует ни во что. Буржуазия же стремится верить, и иногда это ей удается, как удалось Марку и Рене д'Эпарвье. Наоборот, брат их Гаэтан, сельский дворянин, этого не достиг; он был агностиком, как говорят в свете, дабы не употреблять неприятного слова „вольнодумец“. И он объявлял себя агностиком открыто, вопреки доброму обычаю скрывать такие вещи. В наш век есть столько способов верить или не верить, что грядущим историкам не так-то легко будет распутать

все это. Но лучше ли разбираемся мы в верованиях эпохи Симмаха и Амвросия?

Ревностный христианин, Рене д'Эпарвье был весьма привержен либеральным идеям, которые предки передали ему как священное наследие. Принужденный бороться с республикой, безбожной и якобинской, он все же провозглашал себя республиканцем. Независимости и суверенитета церкви он требовал во имя свободы. В эпоху великих дебатов об отделении церкви от государства и споров о конфискации церковного имущества, епископские совещания и собрания верующих происходили у него в доме.

Когда в большой зеленой гостиной собирались наиболее влиятельные вожди католической партии, прелаты, генералы, сенаторы, депутаты, журналисты, и души всех присутствовавших обращались к Риму с нежной покорностью или сдержанным послушанием, а г-н д'Эпарвье, облокотясь на мраморный камин, противопоставлял гражданскому праву право каноническое и красноречиво протестовал против разграбления французской церкви, два старых портрета молча и неподвижно взирали на современное собрание; справа от камин висел написанный Давидом Ромен Бюссар, земледелец из Эпарвье, в куртке и канифасовых штанах, с лицом грубым, хитрым и слегка насмешливым. У него были основания смеяться: это он положил начало благосостоянию семьи, скупая церковные земли. Слева был написанный Жераром сын этого крестьянина, в парадном костюме, сплошь покрытом орденами,— барон Эмиль Бюссар-д'Эпарвье, префект Империи и главный докладчик министерства юстиции при Карле X, умерший в 1837 году церковным старостой своего прихода, со стихками из Вольтеровской „Девственницы“ на устах.

Рене д'Эпарвье женился в 1888 году на Марии-Антуанетте Купелль, дочери барона Купелля, горнозаводчика в Бленвилле (Верхняя Луара); г-жа Рене д'Эпарвье с 1903 года председательствует в ассоциации христианских матерей. Эта примерная супружеская пара выдала старшую дочь замуж в 1908 году; трое детей — два сына и дочь — продолжали жить при родителях.

Леон, младший, шести лет, занимал комнату рядом с спальнями матери и сестры Берты. Морис, старший, помещался в маленьком павильоне из двух комнат в глубине сада. Там молодой человек чувствовал себя на свободе, что делало жизнь в семье вполне сносной. Это был довольно красивый юноша, элегантный

без вычурности; его легкая улыбка, приподнимавшая только уголок рта, была не лишена приятности.

В двадцать пять лет Морис обладал мудростью Екклесиаста. Сомневаясь, чтобы человек получал какую-либо пользу от земных трудов своих, он не отягощал себя заботами. С самого раннего детства этот любимый сыночек занимался тем, что увивал от занятий, и, так и не вкусив школьной премудрости, он стал доктором прав и адвокатом судебной палаты.

Он никогда не выступал защитником и не вел процессов. Он ничего не знал и не хотел ничего знать, сообразуясь в этом со своими дарованиями и не перегружая их приятную ограниченность, ибо счастливый инстинкт внушал ему, что лучше понимать мало, чем понимать плохо.

По выражению г-на аббата Патуля, Морис получил в дар от неба блага христианского воспитания. С детства он видел примеры благочестия у себя в доме, а когда окончил коллеж и поступил на юридический факультет, то у родительского очага обрел ученость докторов, добродетель исповедников и постоянство твердых духом женщин. Приняв участие в общественной и политической жизни в пору великого гонения на французскую церковь, он не пропустил ни одной манифестации католической молодежи: во время конфискации церковного имущества он потрудился над сооружением баррикад у себя в приходе, выпряг вместе со своими товарищами лошадей архиепископа, изгнанного из своего дворца. Однако, он выказал при этих обстоятельствах довольно умеренное рвение: его ни разу не видели в первых рядах этого героического воинства, призывающим солдат к славному неповиновению и забрасывающим правительственных чиновников грязью и оскорблениями.

Он лишь выполнял свой долг,— не больше; и если во время великого паломничества 1911 года он отличился в Лурде, переноса на носилках немощных, то существует подозрение, что делал он это ради г-жи де-ла-Вердельер, которой нравятся сильные мужчины. Аббат Патуль, друг семьи и глубокий знаток человеческой души, понимал, что Морис не очень-то стремится к мученичеству. Он упрекал его в недостатке рвения и трепал за ухо, называя бездельником. Все же Морис был верующим. Среди заблуждений юности вера его сохранилась в неприкосновенности, ибо к ней он не прикасался. Ни разу не задумался он ни над одним из ее догма-

тов. Он не присматривался внимательнее к нравственным идеалам, господствовавшим в обществе, к которому принадлежал. Он принимал их такими, какими они дошли до него: поэтому при всех обстоятельствах он выказывал себя вполне порядочным человеком, чего не мог бы сделать, если бы стал размышлять об основах нравов. Он был вспыльчив, горяч, обладал чувством чести и тщательно развивал его. Он не был ни честолюбив, ни тщеславен. Как большая часть французов, он не любил тратить деньги; он ничего не дарил бы женщинам, если бы они не вынуждали к этому. Думая, что презирает женщин, он обожал их и был по природе слишком чувственным, чтобы замечать это. Чего никто не знал и о чем он сам не подозревал, но что, быть может, угадывалось по легкому влажному блеску, которым сияли иногда его красивые светлоглазые глаза, это — его нежность и способность к дружбе; вообще же, в обыденной жизни, он был достаточно резок.

Глава II,

в которой можно найти полезные сведения об одной библиотеке, где в скором времени произойдут удивительные события

Стремясь охватить весь круг человеческих знаний и желая дать своему энциклопедическому гению конкретный символ и внешнее оформление, соответствующее его денежным средствам, барон Александр д'Эпарвье собрал библиотеку в триста шестьдесят тысяч томов книг и рукописей, в большинстве принадлежавших ранее бенедиктинцам из Лигюже.

Особым пунктом своего завещания он вменял в обязанность наследникам пополнять после его смерти библиотеку всем наиболее значительным, что будет появляться в области естествознания, социологии, политики, философии и религии. Он определил суммы из наследства, которые были предназначены для этого, и поручил старшему сыну, Фульгенцию-Адольфу, заняться расширением библиотеки. Фульгенций-Адольф с сыновней почтительностью выполнил последнюю волю знаменитого своего отца.

После него огромная библиотека, представлявшая собою более чем целую долю в наследстве, осталась неразделенной между тремя

сыновьями и двумя дочерьми сенатора; и г-ну Рене д'Эпарвье, который получил особняк на улице Гарансьер, было поручено хранение этого богатейшего собрания. Обе его сестры, г-жа Поледе-Сен-Фен и г-жа Кюиссар, неоднократно требовали ликвидации имущества столь значительного, но не приносящего дохода. Но Рене и Гаэтан выкупили доли обеих сонаследниц, и библиотека была спасена. Рене д'Эпарвье занялся даже ее расширением, соответственно намерениям основателя. Но с каждым годом он уменьшал число и ценность своих приобретений, утверждая, что интеллектуальная продукция в Европе понижается.

Наоборот, Гаэтан из своих средств обогащал библиотеку новыми трудами, которые выходили как во Франции, так и за границей и которые он считал хорошими, ибо способность здоровой оценки у него была, хотя братья не признавали за ним и крупицы такой способности. Благодаря этому праздному и любознательному человеку собрание барона Александра более или менее не отставало от века.

Библиотека д'Эпарвье по богословию, юриспруденции и истории еще и поныне — одна из лучших частных библиотек Европы. Там вы можете изучать физику, или, лучше сказать, все отрасли физических наук, а если заблагорассудится, то и метафизику или метафизические науки, т. е. все, что примыкает к физике и не имеет другого названия, ибо невозможно обозначить каким-либо существительным то, что не имеет существа и является лишь мечтой и иллюзией. Там вы можете наслаждаться философами, занимающимися утверждением, отрицанием и разрешением абсолюта, установлением неустановимого и определением неопределенного. Все можно отыскать в этой груде книг и книжечек, духовных и светских, все — вплоть до самоновейшего и изящнейшего прагматизма.

В других библиотеках найдутся в большом количестве переплеты, почтенные своей древностью, знаменитые происхождением, приятные атласистостью и оттенками кожи, драгоценные искусством золотильщика, покрывшего их тиснением в виде сеточек, кружев, завитков, цветочков, эмблем, гербов, — переплеты, которые своим нежным блеском чаруют ученые взоры; иные, быть может, хранят большее число рукописей, которые венецианская, фламандская или туренская кисть украсила тонкими и яркими миниатюрами. Но ни

одна из них не превосходит эту богатством прекрасных и ценных изданий писателей древних и новых — духовных и светских.

В ней можно найти все, что сохранилось от старины, — всех отцов церкви, апологетов и декреталистов, всех гуманистов Возрождения, всех энциклопедистов, всю философию, всю науку.

Именно это и побудило кардинала Мерлена, когда он соизволил посетить библиотеку, сказать:

— Нет человека, у которого голова была бы достаточно крепка, чтобы вместить всю ученость, собранную тут на полках. По счастью, в этом и нет никакой необходимости.

Монсеньер Кашпо, который часто занимался там, когда был в Париже викарием, имел обыкновение говорить:

— Здесь мог бы возрасти не один Фома Аквинский и не один Арий, если бы дух человеческий не утратил своего прежнего рвения к добру и злу.

Рукописи, бесспорно, составляли главное богатство этого колоссального собрания. А именно, в нем были неизданные письма Гассенди, отца Мерсенна, Паскаля, которые бросают новый свет на дух семнадцатого века. Нельзя также не отметить еврейские библии, талмуды, раввинские трактаты, печатные или рукописные, арамейские и самаритянские тексты на бараньей коже или на дощечках сикоморы, наконец — древние и драгоценные экземпляры, собранные в Египте и Сирии знаменитым Моисеем из Дины и купленные Александром д'Эпарвье за бесценок, когда в 1836 году ученый гебраист умер в Париже от нищеты и старости.

Библиотека д'Эпарвье занимала третий этаж старого особняка. Труды, признанные маловажными, как, например, произведения протестантской экзегетики девятнадцатого и двадцатого веков, подаренные г-ном Гаэтаном, были засунуты переплетенными в бесконечные глубины чердачного помещения. Каталог с дополнениями составлял не менее восемнадцати томов *in folio*. Каталог был доведен до самых последних приобретений, а библиотека хранилась в образцовом порядке. Г-н Жюльен Сарьетт, архивариус-палеограф, который по бедности и скромности жил уроками, стал с 1895 года, по рекомендации епископа Агрского, воспитателем юного Мориса и, почти одновременно, хранителем библиотеки д'Эпарвье. Одаренный способностью к методическому труду и упорным терпением, г-н Сарьетт сам рассортировал по отделам все части этого огромного

целого. Система, им выработанная и примененная, была столь сложна, сигнатуры, которые он ставил на книгах, состояли из такого количества больших и малых букв, латинских и греческих, такого количества арабских и римских цифр, сопровождаемых звездочками простыми, звездочками двойными, звездочками тройными и теми знаками, которые выражают в арифметике степени и корни, что усвоение всего этого потребовало бы больше времени и труда, чем основательное изучение алгебры; и так как не нашлось никого, кто бы согласился затратить на уразумение этих темных символов время, которое с большей пользой можно было бы употребить на открытие законов чисел, то г-н Сарьетт оставался тем единственным человеком, который был способен разбираться в своих классификациях, так что раз навсегда стало невозможным найти без его помощи нужную книгу среди трехсот шестидесяти тысяч вверенных ему томов. Таков был результат его стараний. Он же не только не жаловался на это, но, наоборот, испытывал живейшее удовлетворение.

Г-н Сарьетт любил свою библиотеку. Он любил ее ревнивой любовью. Ежедневно отправлялся он туда в семь часов утра и там, за большим столом красного дерева, работал над каталогами. Карточки, исписанные его рукой, наполняли монументальный справочный шкаф, который стоял перед ним, увенчанный гипсовым бюстом Александра д'Эпарвьё с развевающимися волосами, вдохновенным взором, маленькими бакенбардами около уха, как у Шатобриана, округлым ртом и обнаженной грудью. Ровно в полдень г-н Сарьетт шел завтракать на узкую и темную улицу Канетт, в ресторанчик „Четырех Епископов“, который некогда посещали Бодлер, Теодор де-Банвиль, Шарль Асселино, Луи Менар и некий испанский гранд, переведший „Тайны Парижа“ на язык конквистадоров. И утки, которые так славно плещутся в грязи на старой каменной вывеске, давшей улице ее название, узнавали г-на Сарьетта. Ровно в час без четверти он возвращался в библиотеку и покидал ее только в семь часов, чтобы воссесть у „Четырех Епископов“ за скромную трапезу, которая увенчивалась черносливом. Каждый вечер, после обеда, его приятель Мишель Гинардон, всеми именуемый „папаша Гинардон“, художник-декоратор и реставратор картин, работавший по церквам, приходил к „Четырем Епископам“ со своего чердака на улице Принцессы выпить кофе с ликером, и оба друга играли партию в домино. Папаша Гинардон, крепкий здоровяк, еще в соку, выглядел

моложе своих лет: он знал Шенавара. Сурово-целомудренный, он беспрестанно громил бесстыдство нового язычества чудовищно непристойным языком. Он любил поговорить. Г-н Сарьетт слушал охотно. Папаша Гинардон большей частью рассказывал своему приятелю о приделе Ангелов в церкви святого Сульпиция, где местами начала лупиться живопись, которую он собирался реставрировать, когда это будет угодно богу, так как со времени отделения церкви от государства храмы принадлежат только богу и никто не берет



на себя заботы о самом необходимом ремонте. Но папаша Гинардон не требовал вознаграждения.

— Михаил — мой патрон, — говорил он, — и я особенно почитаю святых ангелов.

Окончив партию в домино, г-н Сарьетт, совсем крошечный, и папаша Гинардон, крепкий, как дуб, волосатый, как лев, высокий, как святой Христофор, шли рядом, беседуя, через площадь святого Сульпиция под покровом ночи, то благоприятной, то ненастной. Г-н Сарьетт шел прямо к себе домой, к великому огорчению художника, любителя посудачить и побродить ночью.

Наутро, с семи часов, г-н Сарьетт водворялся на обычном месте в библиотеке и принимался за каталог. Из-за своего стола он бросал на каждого входящего взгляд Медузы, опасаясь, что пришли за книгами. Он готов был этим взглядом обратить в камень не только чиновников, политиков, прелатов, которые, пользуясь дружескими отношениями с хозяином, приходили за какой-либо книгой для чтения, но и г-на Гаэтана, благодетеля библиотеки, который брал иногда что-нибудь старенькое, легкомысленное или безбожное, на случай дождливых дней, в деревню, или г-жу Рене д'Эпарвье, когда она приходила за книгой для больных своего госпиталя, и даже самого г-на Рене д'Эпарвье, хотя последний довольствовался обыкновенно „Гражданским кодексом“ и Даллозом. Всякий, уносивший с собой самую пустячную книжку, вырывал у г-на Сарьетта душу. Чтобы не давать книг даже тем, кто имел на них больше всего прав, он изобретал тысячи хитростей, то удачных, то грубых, не боялся даже клеветать на себя и вызывать сомнение в своей бдительности, заявляя, что книга затерялась или пропала, хотя за минуту до того он не сводил с нее глаз и прижимал к сердцу. Если же, в конце концов, все-таки приходилось выдать книгу, он раз двадцать брал ее из рук посетителя, прежде чем вручить окончательно.

Он беспрестанно трепетал от страха, как бы не пропал какой-либо из доверенных ему предметов. В качестве хранителя трехсот шестидесяти тысяч томов, он постоянно обладал тремястами шестюдесятью тысячами поводов для беспокойства. Иногда, по ночам, он просыпался в холодном поту, с тревожным воплем, так как видел во сне пустое место на одной из полок в шкафах.

Ему казалось чудовищным, несправедливым и ужасным, если книга покидала свое место. Его благородная скупость приводила в отчаяние г-на Рене д'Эпарвье, который, не цenia достоинств своего образцового библиотекаря, считал его старым маньяком. Г-н Сарьетт не знал об этой несправедливости; но он выдержал бы самую жестокую немилость, вынес бы бесчестие и оскорбление, лишь бы сохранить нетронутым свое книгохранилище. Благодаря его преданности, бдительности и усердию, словом, благодаря любви к делу, библиотека д'Эпарвье не потеряла ни одного листа за все шестнадцать лет его заведывания, которые истекли 9 сентября 1912 года.

Глава III,

где начинается непонятное

Вечером этого дня, в семь часов, поставив, как обычно, на полки все те книги, которые были вынуты, и убедившись, что все приведено в полный порядок, он вышел из библиотеки и дважды повернул ключ в замке.

Он отобедал по обыкновению в ресторанчике „Четырех Епископов“, прочитал газету „Крест“ и к десяти часам вернулся во свояси в квартирку на улице Регар. Этот простодушный человек не испытывал ни душевного волнения, ни предчувствий; сон его был спокоен. Наутро, войдя ровно в семь часов в прихожую библиотеки, он снял, как обычно, парадный сюртук, затем достал и надел старый, висевший в стенном шкафу над умывальником. Потом он прошел в рабочий кабинет, где в течение шестнадцати лет он шесть дней из семи составлял каталог под вдохновенным взглядом Александра д'Эпарвье, и, намереваясь совершить обычный осмотр помещения, вошел в первый и самый большой зал, где Теология и Религия занимали вместительные шкафы, на которых по карнизу стояли бронзированные гипсовые бюсты поэтов и ораторов древности. Два огромных глобуса украшали амбразуры окон, изображая землю и небо. Но при первом же шаге г-н Сарьетт остановился, оторопев, не смея сомневаться в том, что видел, и вместе с тем не смея этому верить. На синей скатерти рабочего стола были в беспорядке разбросаны книги, одни плашмя, другие вверх корешками. Несколько *in quarto* образовали неустойчивую стопку. Два греческих лексикона, сцепившись между собой, составляли одно существо, более чудовищное, чем человеческие пары божественного Платона. Один том *in folio* с золотым обрезом был развернут, и были видны три безбожно загнутых листа.

Оправившись спустя несколько мгновений от глубокого изумления, библиотекарь приблизился к столу и признал в этом беспорядочном нагромождении самые драгоценные еврейские, греческие и латинские библии, талмуд-уникум, раввинские трактаты, печатные и рукописные, арамейские и самаритянские тексты, торы из синагог,— словом, наиболее драгоценные памятники Израиля, сваленные в кучу, растрепанные и зияющие.

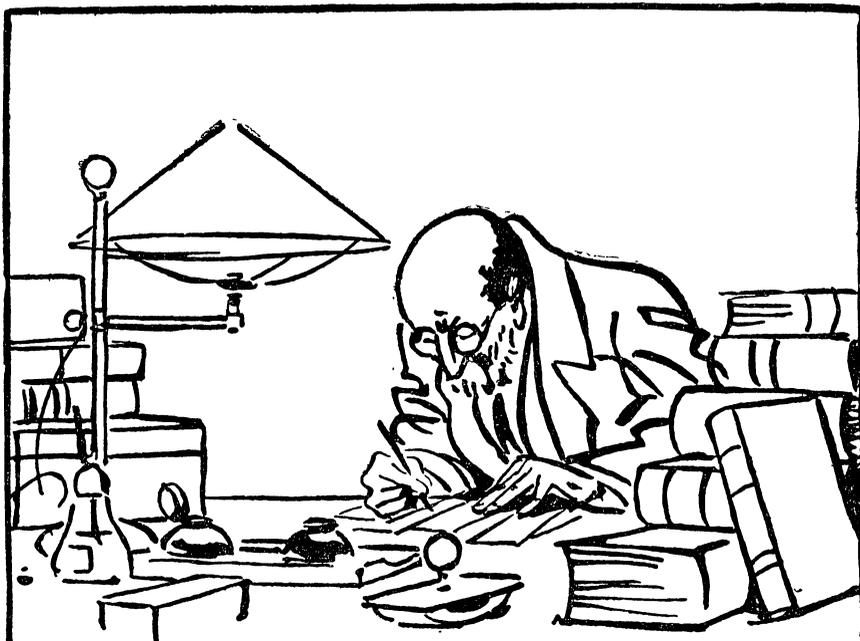
Г-н Сарьетт стоял перед вещью непостижимой, и тем не менее он силился объяснить ее. С какой готовностью ухватился бы он за мысль, что г-н Гаэтан д'Эпарвье, лишенный всяческих принципов и позволявший себе пагубные вольности по отношению к библиотеке, черпая из нее обеими руками во время своих пребываний в Париже,— был виновником этого ужасающего беспорядка. Но г-н Гаэтан путешествовал в то время по Италии. После нескольких мгновений размышления г-н Сарьетт предположил было, что поздно вечером г-н Рене д'Эпарвье взял ключи у своего камердинера Ипполита, который уже в течение двадцати пяти лет убирал комнаты третьего этажа и чердачного помещения. Но г-н Рене д'Эпарвье никогда не работал по ночам и не читал по-еврейски. „Но может быть,— думал г-н Сарьетт,— может быть, он провел или разрешил доступ в этот зал какому-нибудь священнику, какому-нибудь иерусалимскому монаху, проездом остановившемуся в Париже, ученому ориенталисту, занимающемуся толкованием священных текстов“. Г-н Сарьетт подумал также, не господин ли аббат Патуль, человек лобознательный и имевший привычку загигать страницы, набросился на эти библейские и талмудические тексты, ощутив внезапное рвение постигнуть душу Сима. Он заподозрил на мгновение, что старый камердинер, этот самый Ипполит, который, в течение четверти века подметая и убирая библиотеку и постепенно отравляясь ученой пылью, стал излишне любопытным и этой ночью, при лунном свете, терял зрение и разум и губил душу свою над неразборчивыми письменами. Г-н Сарьетт дошел даже до мысли, что молодой Морис, вернувшись из клуба или с собрания националистов, мог стащить с полки и разбросать эти еврейские книги из ненависти к древнему Иакову и его новому потомству, так как этот член семьи д'Эпарвье заявлял себя антисемитом и имел дело только с теми евреями, которые были антисемитами подобно ему. Это означало далеко зайти в гипотезах; но мысль г-на Сарьетта не знала покоя и путалась в самых невероятных предположениях. Горя нетерпением узнать истину, ревностный хранитель книг позвал камердинера.

Ипполит ничего не знал. Спрошенный привратник не мог дать никаких указаний. Прислуга ничего не слыхала. Г-н Сарьетт спустился в рабочий кабинет г-на Рене д'Эпарвье, принявшего его в халате и ночном колпаке, выслушавшего его рассказ с видом серьезного человека, которому надоедают со всякими пустяками,

и отпустившего со словами, в которых сквозило жестокое сострадание:

— Не тревожьтесь и будьте уверены, мой милый господин Сарьетт, что книги лежали сегодня утром там, где вы их вчера оставили.

Г-н Сарьетт раз двадцать повторил свой опрос, но не обнаружил ничего и пришел в такое волнение, что лишился сна. На следующее



утро, в семь часов, войдя в залу Бюстов и Сфер, он нашел все в порядке и вздохнул с облегчением. Потом вдруг его сердце забилося так, словно готово было разорваться; он заметил, что на доске камина лежит томик *in octavo*, без переплета,—новая книга, заложенная самшитовым ножом, которым были разрезаны страницы. Это была диссертация, где сличались две противоречивые редакции Книги Бытия,—работа, отправленная г-ном Сарьетт на чердак и никогда оттуда не извлекавшаяся: до сих пор никто из окружающих

г-на д'Эпарвье не интересовался выяснением того, какая доля участия в образовании первой из священных книг принадлежит редактору-монотеисту и какая — редактору-политеисту. Эта книга носила шифр R < 3214. И внезапно мысль Сарьетта поразила та прискорбная истина, что самая мудрая нумерация не поможет отыскать книгу, если она не на месте.

Все последующие дни, в течение месяца, стол был завален книгами. Греческие и латинские сочинения лежали вперемежку с еврейскими. Г-н Сарьетт задавал себе вопрос, не являются ли эти ночные перестановки делом злоумышленников, проникавших через чердачные окна, чтобы похитить редкие и ценные экземпляры. Но он не обнаружил следов взлома и, несмотря на самые тщательные розыски, ни разу не заметил какой-либо пропажи. Тогда им овладело ужасное смятение, и он начал подумывать, уж не спускается ли с крыши через каминную трубу какая-нибудь обезьяна, живущая по соседству, и не подражает ли она ученым занятиям. „Обезьяны, — думал он, — очень ловко передразнивают действия человеческие“. Знакомый с нравами этих животных, главным образом, по картинам Ватто и Шардена, он воображал, что в искусстве подражания жестам и перенимании характеристики они подобны Арлекинам, Скарамушам, Церлинам и Докторам итальянской комедии; он представлял их себе то вооруженными палитрой и кистями, то толкущими различные снадобья в ступке, то перелистывающими возле атанора старинный трактат по алхимии. И вот, в одно злополучное утро, заметив большую чернильную кляксу на странице третьего тома многоязычной библии в голубом сафьянном переплете, с гербом графа Мирабо, он перестал сомневаться, что виновником преступления была обезьяна. Она делала вид, что пишет, и опрокинула чернильницу. Вероятно, это была обезьяна какого-нибудь ученого.

Проникшись этой мыслью, г-н Сарьетт тщательно изучил топографию квартала, чтобы точно ограничить ту группу домов, среди которых находился особняк д'Эпарвье. Затем он принялся обходить четыре прилегающие улицы, спрашивая у каждого подъезда, нет ли в доме обезьяны. Он обращался к привратникам и привратницам, прачкам, служанкам, к сапожнику, фруктошнице, стекольщику, к приказчикам книжного магазина, священнику, переплетчику, к двум блюстителям порядка, к детям и испытал на себе различные характеры и многообразие настроений в одном и том же народе, так

как ответы, которые он получал, не походили один на другой; попадались резкие и ласковые, грубые и вежливые, простые и пролические, пространные и краткие, и даже безмолвные. Но о животном, которое он разыскивал, не было ни слуху, ни духу, пока однажды под сводами старого дома на улице Сервандони рыжая веснушчатая девочка, сторожившая швейцарскую, ответила:

— Обезьяна есть у г-на Ордоно... Хотите посмотреть?

И без дальних слов она провела старика в глубь двора, к сараю. Там, на теплой соломе, на разорванном одеяле, дрожала от холода молодая макака, перехваченная цепью поперек туловища. Ростом она была не больше пятилетнего ребенка. Ее посиневшая мордочка, наморщенный лоб, тонкие губы — все выражало смертельную тоску. Она подняла на посетителя еще живой взгляд своих желтых глаз. Потом сухонькой ручкой схватила морковку, поднесла ее ко рту и сейчас же отбросила. Поглядев с минуту на пришельцев, изгнанница отвернулась, как бы не ожидая ничего больше ни от людей, ни от жизни. Скорчившись и охватив рукой колено, она более не двигалась; но временами сухой кашель сотрясал ей грудь.

— Это Эдгар, — сказала девочка. — Вы знаете, — он продается!..

Но старый книжник, который вооружился было гневом и яростью, ожидая встретить насмешливого врага, лукавое чудовище, антибиблиофила, стоял теперь удивленный, грустный, подавленный перед этим маленьким созданием, утратившим силы, радость, желания. Сознывая свою ошибку, взволнованный этим почти человеческим лицом, еще более очеловеченным печалью и страданьем, он сказал:

— Извините, — и опустил голову.

Глава IV,

в своей выразительной краткости отбрасывающая нас почти за пределы осязаемого мира

Прошло два месяца. Так как беспорядок не прекращался, г-н Сарьетт стал подумывать о франкмасонах. Газеты, которые он читал, были полны их преступлениями. Г-н аббат Патуль считал их способными на самые черные злодеяния и полагал, что вкупе с свреями они замышляют гибель всего христианского мира.

Достигнув к этому времени пределов могущества, они господствовали во всех государственных органах, руководили парламентом, имели пять представителей среди министров, занимали Елисейский дворец. Они уже умертвили одного президента республики за его патриотизм и затем скрыли сообщников и свидетелей своего гнусного деяния. И дня не проходило, чтобы охваченный ужасом Париж не узнавал о каком-либо таинственном убийстве, подготовленном в лонжках. Это были факты, не допускавшие сомнений. Но каким образом проникали франкмасоны в библиотеку? Г-н Сарьетт никак не мог себе этого уяснить. Что они там делали? Почему ухватились за раннее христианство и начало церкви? Каковы были их нечестивые замыслы. Глубокий мрак покрывал это ужасающее посягательство. Архивариус, правоверный католик, чувствуя, что око сынов Хирама устремлено на него, захворал со страху.

Едва оправившись, он решил провести ночь в том самом месте, где творились столь таинственные и жуткие дела, и накрыть хитрых и опасных посетителей. Его робкому мужеству эта затея стоила дорого.

При слабом сложении и беспокойном уме, г-н Сарьетт был от природы подвержен страху. Восьмого января, в девять часов вечера, когда город засыпал под вой снежной вьюги, он развел яркий огонь в зале, украшенном бюстами древних поэтов и мудрецов, и устроился в кресле возле камина, покрыв ноги пледом. Перед ним стоял столик, на котором находились лампа, чашка черного кофе и револьвер, взятый у молодого Мориса. Он попытался читать газету „Крест“, но строчки прыгали у него перед глазами. Тогда он начал пристально глядеть прямо перед собой, но не увидел ничего, кроме сумрака, не услышал ничего, кроме ветра, и заснул.

Когда он проснулся, огонь потух; погасшая лампа распространяла едкое зловоние; окружающий мрак был полон молочных отсветов и фосфоресцирующего сияния. Ему почудилось, будто на столе что-то движется. Ужас и холод пронизывали его до костей, но подстрекаемый решимостью, более сильной, чем страх, он встал, подошел к столу и провел рукой по скатерти. Темно, ни зги не видать: даже отсветы исчезли; но пальцами он нащупал широко раскрытый фолиант; он попытался его закрыть; книга не давалась, потом вдруг подпрыгнула и трижды ударила неосторожного библиотекаря по голове. Г-н Сарьетт лишился сознания.

С этого времени дела пошли хуже. Книги в еще большем количестве покидали свои полки, и зачастую было невозможно водворить их на место: они исчезали. Каждый день г-н Сарьетт обнаруживал новые пропажи. Болландисты были разрознены, тридцати томов экзегетики не доставало. Сарьетт стал неузнаваем; лицо его сжалось в кулачок и пожелтело, как лимон; шея неестественно вытянулась, плечи опустились; платье висело на нем, как на вешалке. Он перестал есть и в ресторанчике „Четырех Епископов“ уперно смотрел, опустив голову, мрачным, невидящим взглядом на блюде,



где в мутном соке плавал чернослив. Он не слышал, как папаша Гинардон сообщал, что принимается, наконец, за реставрирование росписей Делакруа в церкви святого Сульпиция.

Г-н Рене д'Эпарвье на тревожные доклады злосчастного хранителя сухо отвечал:

— Книги просто затерялись, а не пропали; поищите хорошенько, г-н Сарьетт, поищите хорошенько, и они найдутся.

А за спиной старика шептал: „Этот бедняга Сарьетт кончит плохо“.

— Я думаю,— добавлял аббат Патуль,— что у него голова не в порядке.

Глава V,
в которой придел Ангелов в церкви святого
Сульпиция дает пищу для размышлений об ис-
кусстве и богословии

Придел святых Ангелов, который находится в церкви святого Сульпиция справа от входа, был скрыт дощатой перегородкой. Г-н аббат Патуль, г-н Гаэтан, г-н Морис, его племянник, и г-н Сарьетт прошли туда гуськом, в низенькую дверь, сделанную в перегородке, и застали папашу Гинардона на площадке стремянки, приставленной к „Илиодру“. Старый художник, вооруженный всевозможными составами и инструментами, шпаклевал беловатой замазкой трещину, разделившую надвое первосвященника Онию. Зефирина, любимая натурщица Поля Бодри, Зефирина, у которой не одна Магдалина, Маргарита, Сильфида и Ундина позаимствовала белокурые волосы и перламутровые плечи, Зефирина, как говорили, бывшая возлюбленной императора Наполеона III, стояла у подножия лестницы, растрепанная, поблекшая, с воспаленными глазами, с длинными волосами на подбородке; она была старше папаша Гинардона, с которым разделяла тяготы жизни уже более полувека. Она принесла в корзиночке завтрак художнику.

Хотя через оправленное свинцом решетчатое окно падали косые и холодные лучи, краски Делакруа сверкали, а тела людей и ангелов соперничали в яркости с красочной физиономией папаша Гинардона, выделявшейся на колонне храма. Стенная роспись придела Ангелов, над которой так смеялись и глумились при ее появлении и которая вошла теперь в классическую традицию, стала столь же бессмертной, как творения Рубенса и Тинторетто.

Старый Гинардон, обросший гривой и бородой, напомнил собою Время, стирающее работу Гения. Гаэтан испуганно крикнул ему:

— Осторожнее, господин Гинардон, осторожнее. Не соскабливайте слишком много.

Художник успокоил его:

— Не бойтесь, господин д'Эпарвье. Я пишу не в этой манере. Мое искусство более возвышенно. Я работаю в духе Чимабуэ, Джотто, Беато Анжелико, но не Делакруа. Все это слишком перегружено

противопоставлениями и контрастами и не создает впечатления подлинной святости. Шенавар, правда, говорил, что христианство любит живопись, но Шенавар был проходимцем без веры и совести, безбожником. Видите ли, господин д'Эпарвье: я заполню щели, подклею отставшие кусочки — только и всего... Повреждения, вызванные оседанием стены или, что еще вероятнее, легким землетрясением, охватывают весьма небольшую площадь. Эта живопись — масляными



и восковыми красками по очень сухой грунтовке — более прочна, чем можно было бы предположить. Я видел, как Делакруа работал над этим произведением. Вдохновенный, но беспокойный, он лихорадочно писал, непрерывно стирал сделанное, перегружал деталями; его могучая рука бывала по-детски неловкой; это написано с мастерством гения и неопытностью школьника. Прямо чудо, что краски еще держатся.

Старик замолчал и снова принялся замазывать трещину.

— Как эта композиция,— заметил Гаэтан,— классична и традиционна! Прежде в ней видели только вызывавшие удивление новшества. Теперь мы узнаем в ней ряд старых итальянских формул.

— Я могу позволить себе роскошь быть справедливым, у меня есть на то основания,— отозвался старик с высоты лестницы.— Делакруа жил во времена нечестивые и богохульные. Этот живописец эпохи упадка не был лишен гордости и величия. Он был выше своего времени. Но ему недоставало веры, сердечной простоты, чистоты. Чтобы видеть и писать ангелов, ему недоставало добродетели ангелов и примитивов, той высшей добродетели, которую я с божьей помощью блюду по мере сил,— целомудрия.

— Молчи, Мишель, ты такая же свинья, как и все прочие.

Это крикнула Зефирина, снедаемая ревностью, потому что как раз сегодня утром она видела, как сожигатель ее обнимал на лестнице дочку разносчицы хлеба, молоденькую Октавию, грязную и сияющую, как Рембрантовские невесты. В прекрасные давно прошедшие дни Зефирина беззаветно любила Мишеля, и любовь еще не угасла в ее сердце.

Папаша Гинардон ответил на это лестное оскорбление улыбкой, которую постарался скрыть, и поднял глаза к небу, где архангел Михаил, грозившийся лазурным панцирем и алым шлемом, возносился в сиянии славы.

Тем временем аббат Патуль, заслонившись шляпой от слишком резкого света, падавшего из окна, и прищурив глаза, поочередно рассматривал Илиодора, бичуемого ангелами, святого Михаила, побеждающего демонов, и борьбу Иакова с ангелом.

— Все это прекрасно,— пробормотал он под конец,— но почему художник изобразил на стенах только гневных ангелов? Сколько я ни рассматриваю этот придел, я вижу только посланцев небесного гнева, исполнителей божественного отмщения. Бога надо бояться, но надо также и любить его. Приятно было бы, если бы на этих стенах были изображены вестники милосердия и мира. Хотелось бы видеть серафима, который очистил уста пророка; святого Рафаила, возвратившего зрение старому Товию; Гавриила, возвестившего Марии тайну воплощения; ангела, освободившего от уз святого Петра; херувимов, отнесших тело святой Екатерины на вершину Синая. Особенно приятно было бы созерцать здесь небесных хранителей, которых бог дает всем людям, крещенным во имя его. У всякого из

нас есть свой ангел, который сопутствует каждому нашему шагу, утешает и поддерживает нас. Как было бы сладостно любоваться здесь, в приделе, этими духами, полными очарования, этими прелестными образами!

— Ах, господин аббат, ничего не поделаешь,— ответил Гаэтан.— Делакруа не отличался нежностью. Старик Энгр был до некоторой степени прав, говоря, что живопись этого великого человека пахнет серой. Взгляните на великолепную и мрачную красоту этих ангелов, на этих гордых и суровых андрогинов, на этих жестоких отроков, поднявших над Илиодором карающие бичи, на этого юного и таинственного борца, который прикасается к бедру патриарха...

— Тсс...— сказал аббат Патуль,— по Библии этот ангел не похож на других, если это ангел созидания, предвечный сын божий. Я удивляюсь, как почтенный кюре церкви святого Сульпиция, который поручил господину Эжену Делакруа роспись этого придела, не предупредил, что символическая борьба патриарха с тем, кто не открыл ему своего имени, происходила в глубокой ночи и что здесь не место этому сюжету, так как он символизирует воплощение Иисуса Христа. Лучшие художники впадают в заблуждение, если не получают от авторитетных духовных лиц указаний по вопросам христианской иконографии. Правила христианского искусства составляют предмет многочисленных трудов, которые вам, господин Сарьетт, без сомнения, известны.

Г-н Сарьетт поводил ничего не видящими глазами. Это было на третье утро после ночного приключения в библиотеке. Тем не менее он собрался с духом и ответил на вопрос почтенного аббата:

— По этому предмету можно найти полезные указания у Моануса: „De historia sacrarum imaginum et picturarum“ в издании Ноэля Пако, Лувен, 1771, или у кардинала Федерико Борромео, „Pictura sacra“, а также заглянуть в иконографии Дидрона; по этим последним трудом следует пользоваться с осторожностью.

Произнося эти слова, г-н Сарьетт вновь погрузился в молчание. Он думал о своей разоренной библиотеке.

— С другой стороны,— продолжал аббат Патуль,— раз в этом приделе надо было изобразить пример святого ангельского гнева, художник поступил правильно, когда, по примеру Рафаэля, представил небесных посланцев, покаравших Илиодора. Илиодор, которому Селевк, царь сирийский, поручил похитить сокровища храма, был

поражен ангелом в золотых доспехах, сидевшим верхом на коне в роскошной сбруе. Два других ангела избili его лозами. Он пал наземь, как это изображает Делакруа, и был окутан тьмою. Уместно и полезно предложить эту историю в качестве примера для полицейских комиссаров республики и богохульных фискальных чиновников. Илиодоры не переведутся, но да будет известно: всякий раз, как они наложат руку на церковное достояние, которое является достоянием бедных, они будут избиты и ослеплены ангелами. Я хотел бы, чтобы эта картина, или, пожалуй, более возвышенная композиция Рафаэля на ту же тему, была отпечатана в небольшом формате, в красках, для раздачи при надлежащих okazиях в школах.

— Дядя,— заметил молодой Морис, зевая,— все эти махины нудны. Я предпочитаю Матисса или Меденже.

Его слов не расслышали, и папаша Гинардон продолжал вещать с лестницы:

— Только примитивам и приоткрылось небо. Истинно прекрасное встречается лишь между XIII и XV веками. Античность, нечистая античность, которая в XVI веке распространила свое губительное воздействие на умы, внушила поэтам и художникам преступные мысли, непристойные образы, ужасающие мерзости, словом, всякое свинство. Все художники Возрождения были свиньями, не исключая Микель-Анджело.

Затем, видя, что Гаэтан собирается уходить, папаша Гинардоц принял добродушный вид и шепнул ему конфиденциальным тоном:

— Господин Гаэтан, если вы не боитесь подняться ко мне на пятый этаж, загляните-ка в мою конуру; у меня есть два-три небольших холста, от которых я не прочь избавиться и которые могут вас заинтересовать. Они написаны хорошо, откровенно, честно. Между прочим, я покажу вам небольшого Бодуэна, такого аппетитного и острого, что прямо слюнки текут.

После этой речи Гаэтан поспешно вышел. Спускаясь со ступеней паперти и заворачивая на улицу Принцессы, он изливал оказавшемуся под рукой Сарьетту, так же, как излил бы всякому другому человеческому существу, дереву, фонарному столбу, собаке или собственной тени, все те негодования, которые вызывали в нем эстетические теории старого живописца.

— Папаша Гинардон с его христианским искусством и примитивами издевается над нами. Все небесное, что замышляет художник, взято на земле: бог, дева, ангелы, мученики, мученицы, свет, облака. Когда старик Энгр расписывал стекла в часовне Дре, он сделал свинцовым карандашом с натуры изящный и тонкий рисунок ногой женщины; его можно в числе прочих рисунков видеть в музее Бонна, в Байонне. И чтобы не забыть, старик Энгр написал внизу листа: „Мадемуазель Сесиль, дивные ноги и бедра“. А дабы сделать из мадемуазель Сесиль святую, он надел на нее платье, мантию, покрывало, и этим позорно унизил ее, потому что все лионские и генуэзские ткани ничего не стоят в сравнении с живой и юной тканью, порозовевшей от свежей крови; потому что самая красивая драпировка ничтожна в сравнении с линиями прекрасного тела; и, наконец, потому что всякие одежды — незаслуженное унижение и худшее оскорбление для цветущей и желанной плоти.

И Гаэтан, небрежно шагая по замерзшей канаве на улице Гарансьер, продолжал:

— Папаша Гинардон — зловерный идиот. Он хулит античность, святую античность, время, когда боги были благими. Он превозносит эпоху, когда и художник и скульптор принуждены были всему учиться заново. В действительности христианство было враждебно искусству, так как не поощряло изучения нагого тела. Искусство есть изображение природы, а природа — это главным образом человеческое тело, нагота.

— Позвольте, позвольте, — пробормотал старик Сарьетт. — Есть красота духовная и, так сказать, внутренняя, которую от Фра-Анжелико до Ипполита Фландрена христианское искусство...

Но не желая ничего слушать, Гаэтан обращал свои пылкие речи к камням старой улицы и к снеговым тучам, которые плыли у него над головой.

— О примитивах нельзя говорить как о чем-то едином, потому что они весьма различны. Этот старый глупец путает все. Чимабуэ — испорченный византиец. В Джотто чувствуется могучий гений, но он не умеет рисовать и, как дети, приставляет одну и ту же голову всем своим персонажам. Итальянские примитивы полны веселья и прелести, потому что они итальянцы. У венецианцев — прекрасное чувство краски. Но все же эти изысканные ремесленники больше расцветывают и золотят, чем пишут. У вашего Беато Анжелико, на

мой вкус, чересчур нежны и сердце и палитра. Что касается фламандцев, тут иное дело. Они набили себе руку и блеском мастерства сравнялись с мастерами китайских лаков. Техника братьев Ван-Эйков изумительна. И все же я не вижу в „Поклонении агнцу“ очарования и таинственности, которые так превозносят. Все здесь написано с беспощадным совершенством, но все вульгарно по чувству и жестоко уродливо. Мемлинг, быть может, трогателен; но он создавал только заморышей да калек, и под тяжелыми, богатыми и безобразными одеяниями его дев и мучениц чувствуются жалкие тела. Я не стал ждать, пока Рожьер ван-дер-Вейден будет называться Роже де-ла-Патюр и превратится во француза, чтобы предпочесть его Мемлингу. Этот Рожьер или Роже менее простоват, зато он более мрачен, и твердость рисунка на его картинах лишь подчеркивает убожество форм. Странное заблуждение — любоваться этими постылыми фигурами, когда существует живопись Леонардо, Тициана, Корреджо, Веласкеса, Рубенса, Рембрандта, Пуссена, Прудона. В этом, право, есть какой-то садизм!..

А вслед за эстетом и библиотекарем медленно шагали г-н аббат Патуль и Морис д'Эпарвье. Г-н аббат Патуль, обычно не склонный к богословским разговорам с мирянами и даже с духовными лицами, на этот раз, увлеченный прелестью темы, изъяснял юному Морису святое служение ангелов-хранителей, которых Делакруа, к сожалению, не включил в свои росписи. И, чтобы лучше выразить свою мысль о столь возвышенном предмете, г-н аббат Патуль черпал у Боссюэта обороты, выражения, целые фразы, которые он некогда заучил наизусть, дабы вставлять их в проповеди, ибо был весьма привязан к традиции.

— Да, дитя мое,— говорил он,— да, господь бог приставил к нам опекающих нас духов. Они приносят нам дары его; ему передают они наши моления. Таково их назначение. Каждый час, каждое мгновение эти усердные и неутомимые хранители, эти неусыпные стражи готовы подать помощь нам.

— Совершенно правильно, господин аббат,— бормотал Морис, обдумывая, каким бы ловким способом растрогать мать и вытянуть у нее известную сумму денег, которая была ему чрезвычайно необходима.

Глава VI,

в которой старик Сарьетт обретает свои сокровища

На следующее утро г-н Сарьетт вошел, не постучавшись, в кабинет к г-ну Рене д'Эпарвье. Руки его были воздеты к небу; редкие волосы стояли дыбом. Глаза были расширены от ужаса. Заплетающимся языком он возвестил о великом несчастье: очень древний манускрипт Иосифа Флавия, шестьдесят томов разного формата, затем бесценная редкость — „Лукреций“ с гербом Филиппа Вандомского, великого приора Франции, с собственноручными пометками Вольтера, манускрипт Ришара Симона и переписка Гассенди с Габриэлем Ноде, заключающая сто тридцать восемь неизданных писем, — все исчезло. На этот раз владелец библиотеки забил тревогу. Он спешно поднялся в залу Философов и Сфер и там воочию убедился в размерах потери. На многих полках зияли пустые места. Он принялся искать наугад, открыл несколько стелльных шкафов, обнаружил метлы, тряпки, огнетушители, лопаткой помешал уголь в камине, потряс парадный сюртук г-на Сарьетта, висящий над умывальником, и обескураженно взглянул еще раз на пустое место, оставленное пачками писем Гассенди. Весь ученый мир в течение полувека громко требовал опубликования этой переписки. Г-н Рене д'Эпарвье оставался глух к этому общему желанию, не соглашаясь ни взять на себя столь тяжелую задачу, ни поручить ее другим. Обнаружив в этих письмах слишком большую смелость мысли и множество мест, более вольных, нежели могло терпеть благочестие двадцатого века, он предпочел оставить эти страницы неизданными; однако он чувствовал свою ответственность за эти собрания перед отечеством и всей цивилизацией.

— Как могли вы допустить исчезновение такого сокровища? — строго спросил он г-на Сарьетта.

— Как я мог допустить исчезновение такого сокровища! — повторил несчастный библиотекарь. — Если бы, сударь, мне рассекли грудь, то нашли бы этот вопрос начертанным в моем сердце.

Не растрогавшись этим сильным выражением, г-н д'Эпарвье продолжал со сдержанным гневом:

— И вы не обнаружили никаких указаний, способных навести на следы воров, господин Сарьетт? У вас нет никаких подозрений, ни малейшего представления о том, как все это произошло? Вы ничего не видели, ничего не слышали, ничего не заметили, ничего не узнали? Согласитесь, что это непонятно. Подумайте, господин Сарьетт, подумайте о возможных последствиях этого неслыханного хищения, совершённого у вас на глазах. Документ, бесценный для истории человеческой мысли, вдруг исчезает. Кто его украл? Для чего украли? В чьих интересах? Завладевшие им, разумеется, прекрасно понимают, что не могут обуть его с рук во Франции. Они продадут его в Америку или в Германию. Германия падка на подобные литературные памятники. Если переписка Гассенди с Габриэлем Ноде попадет в Берлин, если немецкие ученые опубликуют ее,—какой это будет удар, какой скандал, сказал бы я даже! Господин Сарьетт, подумали ли вы об этом?

Под тяжестью выговора, тем более жестокого, что он уже и сам себе его делал, г-н Сарьетт обалдело молчал.

А г-н д'Эпарвье умножал горькие упрёки:

— И вы не пытаетесь ничего предпринять, вы не изобретаете никаких способов вернуть это неоценимое сокровище! Ищите же, действуйте, господин Сарьетт, придумывайте что-нибудь. Дело стоит того.

И г-н д'Эпарвье вышел, бросив ледяной взгляд на библиотекаря.

Г-н Сарьетт принялся искать затерянные книги и рукописи во всех местах, где он уже искал их сто раз, и даже там, где они никак не могли быть: и в ведре с углем, и под кожаной подушкой у себя на кресле, а когда пробил полдень, он машинально спустился вниз. На нижней площадке встретил своего бывшего ученика Мориса и поздоровался с ним. Но он видел людей и вещи словно сквозь туман.

Огорченный хранитель библиотеки был уже в вестибюле, когда Морис окликнул его:

— Кстати, господин Сарьетт, чтобы не забыть, велите же забрать старые книги, которые свалены в моем павильоне.

— Какие книги, Морис?

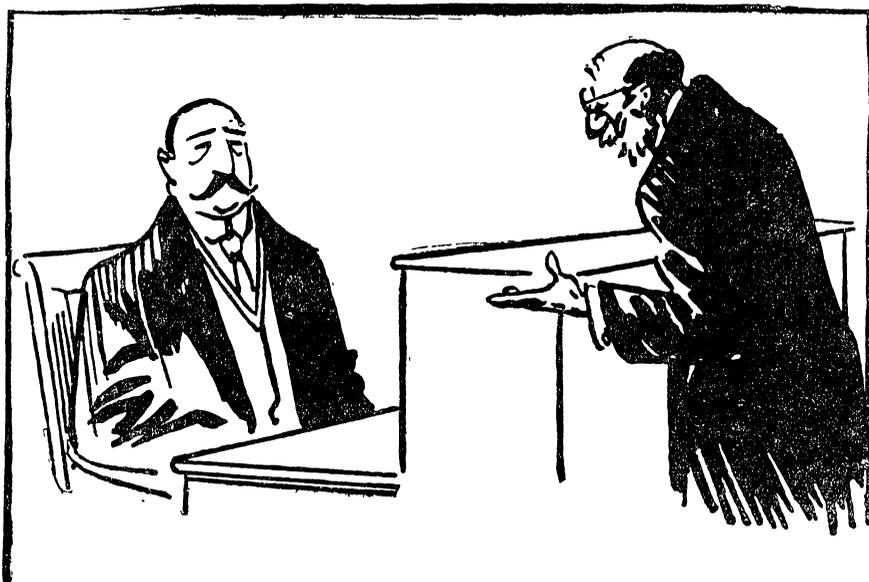
— Право, не могу сказать, господин Сарьетт, но там есть какая-то изъеденная червями гебраистика и еще целый ворох старых бумаг. Я завален ими. У меня в передней повернуться невозможно.

— Кто их туда принес?

— Чорт его знает, кто!

И молодой человек быстро прошел в столовую, так как за минуту перед тем доложили, что завтрак подан.

Г-н Сарьетт бросился к павильону. Морис сказал правду. Около сотни томов валялись на столах, на стульях, на полу. Увидя их, обуреваемый радостью и страхом, полный удивления и смутения, счастливый, что нашлось его пропавшее сокровище, и трепеща от боязни вновь потерять его, пораженный неожиданностью, старый



книжник то лепетал как ребенок, то хрипло вскрикивал, как сумасшедший. Он признал свои еврейские библии, свои старые талмуды, свой древнейший манускрипт Иосифа Флавия, письма Гассенди к Габриэлю Ноде и главную драгоценность — „Луcreция“ с гербом великого приора Франции и собственноручными пометками Вольтера. Он смеялся, плакал, целовал сафьян, телячью кожу, пергамент, веленевую бумагу, деревянные доски, украшенные гвоздиками. По мере того как камердинер Ипполит переносил в библиотеку одну охапку за другой, растроганный г-н Сарьетт благоговейно расставлял их по местам.

Глава VII,

представляющая довольно большой интерес и содержащая мораль, которая, надеюсь, придется по вкусу большинству читателей, ибо она формулируется следующим горьким восклицанием: „Куда влечешь ты меня, мысль!“ А ведь всеми признано, что мыслить вредно и что подлинная мудрость заключается в том, чтобы не думать ни о чем

Все книги воссоединились опять в благоговейных руках г-на Сарьетта. Но этот счастливый союз длился недолго. В следующую же ночь исчезло двадцать книг, и среди них — „Лукреций“ приора Вандомского. В течение недели древние тексты Ветхого и Нового Завета, как еврейские, так и греческие, вновь очутились в павильоне. И в продолжение следующего месяца, покидая каждую ночь свои полки, они таинственно отправлялись по тому же пути. Некоторые же книги исчезали неизвестно куда.

Осведомленный об этих загадочных происшествиях, г-н Рене д'Эпарвье ограничился тем, что без всякой благожелательности сказал библиотекаря:

— Все это весьма странно, мой милый господин Сарьетт, поистине весьма странно.

А когда г-н Сарьетт посоветовал подать жалобу или уведомить комиссара полиции, г-н д'Эпарвье возмутился:

— Что вы мне предлагаете, господин Сарьетт? Обнаружить наши домашние тайны, наделать шуму!.. Как это вам пришло в голову? У меня есть враги, и я горжусь этим: я полагаю, что заслужил их неприязнь. Но на что я могу действительно пожаловаться,— это на неслыханно резкие нападки внутри моей же партии, со стороны ревностных роялистов, которые, быть может, прекрасные католики, но весьма дурные христиане... Словом, за мной шпионят, следят, наблюдают, а вы, господин Сарьетт, предлагаете мне выдать злостным журналистам комичную тайну, нелепое приключение, словом, историю, в которой мы с вами играем довольно-таки жалкую роль. Вы хотите выставить меня на посмешище?..

К концу беседы они решили переменить все замки в библиотеке.

Были составлены сметы, вызваны рабочие. В течение полутора месяцев особняк д'Эпарвье с утра до вечера оглашался стуком молотков, свистом буравов, скрежетом пил. В зале Философов и Сфер зажигались огни, и запах горелого масла вызывал тошноту у обитателей особняка. Старые мирные и податливые замки заменены были в дверях и шкафах новыми, затапливаемыми и строптивыми. Всюду были замысловатые механизмы, всяческие замки с литерами, надежные засовы, болты, цепи, электрические сигнализаторы. Все эти металлические штуки наводили страх. Замочные покрывки сверкали, язычки скрипели. Для каждого зала, каждого шкафа, каждого ящика нужно было знать особый шифр, известный только г-ну Сарьетту. Он забивал себе голову причудливыми словами и огромными числами и запутывался в этой тайнописи, в квадратах, кубах, треугольниках. Он сам уже не мог открыть дверей и шкафов, а меж тем, каждое утро шкафы были настезь, а книги перевернуты, разрознены, перемешаны. Однажды ночью полицейский подобрал в канаве на улице Сервандони брошюру Соломона Рейнака о тождестве Вараввы и Иисуса. Так как на ней был штемпель библиотеки д'Эпарвье, то он отнес ее владельцу.

Г-н Рене д'Эпарвье, не удостоив даже предупредить об этом г-на Сарьетта, решил обратиться к одному из своих друзей, человеку достойному доверия, г-ну дез-Обель, который был советником судебной палаты и расследовал несколько важных дел. Это был круглый человечек, краснощекий, очень лысый, так что его череп блестел, как бильярдный шар. Однажды утром он зашел в библиотеку, сделал вид, что явился туда в качестве библиофила, но сразу же обнаружил, что в книгах не понимает ничего. Все бюсты древних философов кружком отражались у него в лысине, а он задавал предательские вопросы г-ну Сарьетту, который запинался и краснел, так как невинность легко смущается. С этой минуты г-н дез-Обель сильно заподозрил г-на Сарьетта в кражах, которые тот сам с ужасом обнаруживал; и он тотчас же принялся разыскивать соучастников. Что же касается мотивов преступления, то о них он не заботился: мотивы всегда найдутся. Г-н дез-Обель предложил г-ну Рене д'Эпарвье устроить негласный надзор за особняком с помощью агента полиции.

— Я распоряжусь,— сказал он,— назначить к вам Миньона. Это прекрасный служащий, внимательный и осторожный.

На другой день с шести часов утра Миньон уже прогуливался

перед особняком д'Эпарвье. Он отличался весьма примечательной внешностью: головой, втянутой в плечи, завиточками на висках, видневшимися из-под узких полей котелка, глазами, посаженными вбок, огромными матово-черными усами, гигантскими руками и ногами; он мерно прохаживался от ближайшей из колонн с бараными головами, украшающих особняк де-ла-Сордьер, до конца улицы Гарансьер, к абсиде церкви святого Сульпиция и к центральной части часовни Девы Марии. Начиная с этого дня, нельзя было ни выйти из особняка д'Эпарвье, ни войти в него, не чувствуя, что следят за каждым твоим движением и даже за твоими мыслями. Миньон был существом удивительным, наделенным свойствами, в которых природа отказывает остальным людям. Он не ел и не спал: во всякое время дня и ночи, в дождь и в ветер, он дежурил перед особняком и никто не мог избежать радиолучей его взгляда. Любой чувствовал себя пронизанным насквозь, до мозга костей, хуже чем голым,—скелетом. Это было делом одной секунды; агент даже не останавливался, продолжая свою вековечную прогулку. Это стало невыносимым. Молодой Морис угрожал, что не вернется под родительский кров, если будет продолжаться такое радиографирование. Его мать и сестра Берта жаловались на пронизывающий взгляд, оскорблявший целомудренную скромность их души. Мадемуазель Капораль, гувернантка маленького Леона д'Эпарвье, испытывала несказанное смущение. Г-н Рене д'Эпарвье был измучен и не переступал порога своего дома, не надвинув шляпы на глаза, чтобы избежать пытливых лучей, и не послал к чорту старика Сарьетта, источник и причину всего зла. Такие близкие люди, как аббат Патуль и дядя Гартан, стали появляться реже, гости прекратили визиты, поставщики не решались приносить товары, фуры больших магазинов едва осмеливались подъезжать. Но самые крупные беспорядки слежка породила среди прислуги. Камердинер, боясь под бдительным оком полиции навещать жену сапожника, когда пополудни она работала совсем одна, находил службу невыносимой и просил расчета; Одилия, горничная г-жи д'Эпарвье, не решалась теперь, уложив спать хозяйку, впускать как обычно к себе в мансарду Октава, самого красивого приказчика из соседнего книжного магазина, и стала печальной, раздражительной, нервной; она дергала госпожу за волосы, причесывая ее, дерзила и делала авансы г-ну Морису; кухарка, мадам Мальгуар, особа серьезная, лет пятидесяти, не могла перенести разлуку с Огюстом,

приказчиком из винной лавки с улицы Сервандони,— лишения слишком тяжкого для ее темперамента,— и сошла с ума: она подала господам на обед сырого кролика и объявила, что сам папа сделал ей предложение. Наконец, после двух месяцев нечеловеческого усердия, противного всем известным законам органической жизни и необходимым условиям существования животного мира, агент Миньон,



не обнаружив ничего ненормального, прекратил свою слежку и молча удалился, отказавшись от всякого вознаграждения. А в библиотеке книги продолжали свою пляску, как ни в чем не бывало.

— Все обстоит великолепно,— заявил господин дез-Обель.— Раз никто не входит и не выходит, злоумышленник в доме.

Этот судейский решил безо всяких допросов и обысков разыскать престушника. В назначенный день, в полночь, он велел покрыть

слоем талька пол библиотеки, ступеньки лестницы, вестибюль, аллею, ведущую к павильону г-на Мориса, и переднюю в павильоне. На следующее утро г-н дез-Обель, в сопровождении фотографа из префектуры, г-на Рене д'Эпарвьё и г-на Сарьетта, явился, дабы сфотографировать следы. В саду не нашли ничего: порошок сдуло ветром; в павильоне также ничего не оказалось. Юный Морис, по его словам, думая, как он пояснил, что это чья-то глупая шутка, вымел веником белую пыль. На самом же деле, он хотел уничтожить следы, оставленные ботинками горничной Одилии. На лестнице же и в библиотеке были обнаружены на некотором расстоянии один от другого весьма слабые отпечатки голой ноги, которая, казалось, скользила по воздуху и ступала очень легко и лишь через большие промежутки. Всего было найдено пять таких следов. Самый четкий из них находился в зале Бюстов и Сфер, около стола, где были навалены книги. Фотограф префектуры сделал несколько снимков со следа.

— Это страшнее всего остального,— пробормотал г-н Сарьетт.

Г-н дез-Обель не мог скрыть своего недоумения.

Три дня спустя антропометрический отдел префектуры возвратил обратно представленные ему снимки, сообщив, что в его материалах ничего похожего не имеется. После обеда г-н Рене д'Эпарвьё показал снимки брату Гаэтану, который рассмотрел их с глубоким вниманием и после продолжительного молчания сказал:

— Нисколько не сомневаюсь, что у них в префектуре ничего подобного не нашлось; это нога античного атлета или бога. Ступня, оставившая этот след, обладает совершенством, которое не встречается среди наших рас и в наших широтах. Большой палец изысканной красоты, а пятка божественна.

Рене д'Эпарвьё крикнул, что брат сошел с ума.

— Он поэт,— вздохнула г-жа д'Эпарвьё.

— Дядя,— заметил Морис,— вы, пожалуй, влюбитесь в эту ногу, если вам доведется увидеть ее.

— Такая судьба уже постигла Виван-Денона, который сопровождал Бонапарта в Египет,— ответил Гаэтан.— В Фивах, в одной могиле, разграбленной арабами, Денон нашел ножку мумии изумительной красоты. Он созерцал ее с необычайной пламенностью. „Это ножка молодой женщины,— мечтал он,— принцессы, некоего прелестного существа; никакая обувь не уродовала ее совершенных форм“.

Денон любовался ею, обожал ее, любил. Рисунок этой ножки имеется в атласе его путешествия по Египту, который можно было бы, не откладывая в долгий ящик, перелистать там, наверху, если бы старик Сарьетт позволил заглянуть хотя бы в одну из книг своей библиотеки.

Временами, когда Морис ночью просыпался в постели, ему чудилось, будто кто-то в соседней комнате перелистывает страницы, а переплеты стучат о паркет.

Однажды, возвращаясь в пять часов утра из клуба после большого проигрыша и разыскивая перед дверью павильона запропастившиеся где-то в кармане ключи, он явственно расслышал голос, который со вздохом шептал:

— Познание, куда ведешь ты меня? Куда влечешь ты меня, о мысль?

Но, пройдя обе комнаты, он не увидел никого и решил, что это звенело у него в ушах.

Глава VIII,

*где говорится о любви, что должно понравиться
читателю, ибо повесть без любви — то же, что
колбаса без горчицы: вещь нелепая*

Морис не удивлялся ничему. Он не пытался постигнуть причину вещей и спокойно жил в мире видимостей. Не отрицая существования вечной истины, он гнался, отдаваясь своим желанием, за суетными образами.

Менее увлеченный спортом и физическими упражнениями, чем большая часть молодых людей его поколения, он бессознательно оставался верен любовным традициям своей расы. Французы всегда были самыми галантными из людей, и было бы досадно, если бы они утратили это преимущество. Морис хранил его; он не был влюблен ни в одну женщину, но „любил любовь“, как выражается святой Августин. Отдав должную дань неувядаемым прелестям и тайному искусству г-жи де-ла-Вердельер, он вкусил от торопливых ласк некоей лирической певицы по имени Люсиоль; теперь он без

особой радости переносил элементарную испорченность Одилли, горничной его матери, и слезливое обожание прекрасной г-жи Буаттье. Он ощущал великую пустоту в сердце. И вот, в одну из сред, зайдя в гостиную, где его мать принимала знакомых дам, большею частью строгих и малопривлекательных, вместе со стариками и очень молодыми людьми, он заметил в этой интимной обстановке г-жу дез-Обель, жену того самого советника судебной палаты, с которым г-н Рене д'Эпарвье безрезультатно советовался относительно таинственных хищений в библиотеке. Она была молода, он нашел ее миловидной, и не без оснований. Жильберта была вылеплена Гением Женственности, и никакой другой Гений не участвовал в этой работе. Поэтому все в ней возбуждало желание, и ничто, ни в ее внешности, ни в ее существе, не внушало иных чувств. Мысль, которая движет мирами, побудила молодого Мориса подойти ближе к этому чудесному созданию. Поэтому он предложил ей руку, чтобы вести к чайному столу. И когда Жильберта взяла чашку, он сказал:

— Мы с вами могли бы сговориться... Согласны?

Он говорил так, следуя современным правилам, дабы избежать пошлых комплиментов и избавить женщину от выслушивания тех устарелых признаний, которые, в силу своей расплывчатости и неопределенности, не дают возможности ответить точно и ясно. И воспользовавшись несколькими минутами, когда можно было говорить с г-жой дез-Обель незаметно, он обратился к ней с предложениями, настойчивыми и не терпящими промедления. Жильберта, насколько можно судить, была создана скорее для того, чтобы возбуждать желания, чем для того, чтобы их испытывать. Тем не менее она сознавала, что ее назначение — любовь, и следовала этому охотно и с удовольствием. Морис не был ей определенно неприятен. Но она предпочла бы, чтобы он был сиротой, зная по опыту, сколько разочарований приносит порой любовь сына почтенных родителей.

— Значит, решено? — сказал он в виде заключения.

Она притворилась, будто не понимает, и, задержав у самого рта булочку с паштетом, которую держала в руке, вскинула на Мориса удивленные глаза.

— Что именно? — спросила она.

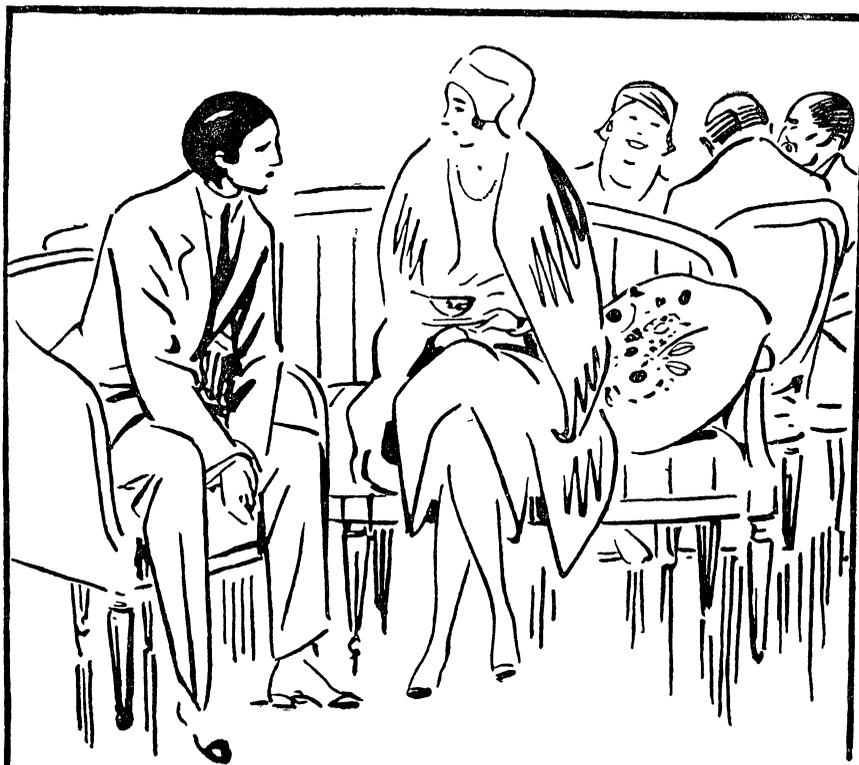
— Вы сами отлично знаете.

Г-жа дез-Обель опустила глаза, отпила глоток чая и не ответила ни слова, так как ее целомудрие не было еще побеждено.

Тем временем Морис, беря у нее из рук пустую чашку, продолжал:

— В субботу, в пять, улица Рима, 126, нижний этаж, дверь направо под аркой; стукнете три раза.

Г-жа дез-Обель подняла на сына почтенных хозяев спокойные, строгие глаза и уверенным шагом вернулась в круг достойных жен-



щин, которым г-н Ле-Фоль, сенатор, объяснял как раз действие приборов для искусственного высиживания цыплят в сельскохозяйственной колонии Сент-Жюльенн.

В следующую субботу, у себя в квартире на улице Рима, Морис ждал г-жу дез-Обель. Он прождал ее напрасно. Маленькая ручка не постучала трижды в дверь под аркой. Морис разразился проклятиями по адресу отсутствующей, обзывая ее про себя кобылой

и верблюдом. Напрасные надежды, обманутые желания делали его несправедливым. Ибо г-жа дез-Обель, не явившись туда, куда и не обещала придти, этих названий не заслуживала. Но мы судим о человеческих поступках по тому удовольствию или огорчению, которые они нам доставляют.

Морис появился в гостиной матери лишь две недели спустя после серенады за чайным столом. Он пришел поздно, когда г-жа дез-Обель уже с полчаса находилась в гостиной. Он поклонился ей холодно, сел в отдалении и сделал вид, что слушает.

— ...оба противника,— говорил мужественный и красивый голос,— были достойны друг друга, и борьба должна была быть жестокой, а исход неопределенным. Генерал Боль с беспримерной стойкостью врос, если так можно выразиться, в землю. Генерал Мильпертю, одаренный сверхчеловеческой подвижностью, производил вокруг непоколебимого противника движения головокружительной быстроты. Сражение велось с ужасающей яростью. Все были в крайнем напряжении...

Так генерал д'Эпарвье рассказывал трепещущим дамам о больших осенних маневрах. Он говорил искусно и умел нравиться: Проведя затем параллель между методами французским и немецким, он в высшей степени беспристрастно определил характерные черты обоих, подчеркнул достоинства и одного, и другого, не побоявшись отметить, что оба имеют известные преимущества, и для начала представил взору удивленных, разочарованных и смущенных дам, лица которых омрачились и вытянулись, как Германия берет верх над Францией. Но, по мере того как воинственный муж обстоятельно описывал оба метода, французский проявлял себя все более гибким, изящным, полным силы, грации, остроумия и веселости, тогда как немецкий явно становился тяжелым, неуклюжим и робким. И мало-помалу лица дам стали округляться и озаряться радостной улыбкой. И, чтобы окончательно успокоить этих матерей, жен, сестер и возлюбленных, генерал объяснял им, что мы в состоянии применить и немецкий метод, когда это нам выгодно, тогда как немцам французский метод недоступен.

Когда генерал кончил, его отвел в сторону г-н Ле-Трюк-де-Рюффе, который основывал патриотическое общество „Фехтование для всех“ в целях (он говорил: „в целях“) возрождения Франции и обеспечения ее превосходства над всеми противниками. В общество

будут зачисляться дети с колыбельного возраста, и г-н Ле-Трюк-де-Рюффеке предлагал почетное председательство генералу д'Эпарвье.

Тем временем Морис, казалось, прислушивался к разговору, который завязался между очень кроткой старой дамой и аббатом Лаптитом, священнослужителем общины сестер Крови Иисусовой. Старая дама, измученная с некоторых пор траурами и болезнями, хотела знать, почему люди так несчастны в сем мире, и спрашивала у аббата Лаптита:

— Как объясните вы бедствия, обрушивающиеся на человеческий род? Зачем бывают чума, голод, наводнения, землетрясения?

— Нужно же, чтобы время от времени бог напоминал нам о себе,— отвечал аббат Лаптит с небесной улыбкой.

Морис притворился, будто сильно заинтересован этим разговором. Затем он сделал вид, что увлекся г-жою Филло-Гранден, довольно свежей молодой особой, но в своей простоватой наивности лишенной всякой соли и остроты. Одна очень старая дама, крикливая и резкая, подчеркивавшая нарочитой скромностью темного шерстяного платья свое высокомерие светской дамы из христианского финансового мира, закричала визгливым голосом:

— Итак, милая госпожа д'Эпарвье, у вас были какие-то неприятности? Газеты что-то смутно сообщали о кражах и исчезновениях в богатейшей библиотеке господина д'Эпарвье, о пропавших письмах.

— Ах,— сказала г-жа д'Эпарвье,— если верить всему, что пишут газеты!..

— В конце концов, моя дорогая, вы ведь разыскали свои сокровища? Все хорошо, что хорошо кончается.

— Библиотека в полном порядке,— подтвердила г-жа д'Эпарвье.— Все в целости.

— Библиотека помещается этажом выше, не правда ли?— спросила г-жа дез-Обель, проявив неожиданный интерес к книгам.

Г-жа д'Эпарвье ответила, что библиотека занимает весь третий этаж, а наименее ценные книги сложены на чердаке.

— Нельзя ли мне осмотреть ее?

Хозяйка дома заявила, что ничего не может быть проще. Она обратилась к сыну:

— Морис, покажите библиотеку госпоже дез-Обель.

Морис встал с места и, не говоря ни слова, поднялся за

г-жой дез-Обель в третий этаж. Вид у него был равнодушный, но в душе он радовался, не сомневаясь в том, что г-жа дез-Обель изъявила желание осмотреть библиотеку только для того, чтобы поговорить с ним наедине. И, представляясь равнодушным, он решил повторить свое предложение, которое на этот раз не должно было встретить отказа.

Под романтическим бюстом Александра д'Эпарвье их встретила молчаливая тень старичка с ввалившимися глазами, с привычно покорным выражением ужаса на прозрачном лице.

— Не беспокойтесь, господин Сарьетт,— сказал Морис,— я показываю библиотеку госпоже дез-Обель.

Морис и г-жа дез-Обель прошли в большой зал, по четырем стенам которого возвышались шкафы, набитые книгами и украшенные бронзированными бюстами поэтов, философов и ораторов древности. Все было в образцовом порядке, который, казалось, не нарушался с самого основания библиотеки. Только на том месте, где еще вчера находилась неизданная рукопись Ришара Симона, виднелась черная дыра. Рядом с молодыми людьми бесшумно шагала г-н Сарьетт, бледный, незаметный и безмолвный.

Морис с упреком взглянул на г-жу дез-Обель.

— Право же, вы поступили нехорошо...

Она показала знаком, что библиотекарь может их слышать. Но он ее успокоил:

— Не обращайтесь внимания. Это старик Сарьетт. Он окончательно спятил.

И он повторил:

— Да, с вашей стороны, это нехорошо. Я вас ждал; вы не пришли. Из-за вас я страдал...

После минутного молчания, во время которого слышалось только тихое и печальное пение астмы в бронхах бедняги Сарьетта, молодой Морис настойчиво заговорил снова:

— Вы были не правы.

— Не права? В чем?

— Что не захотели сговориться со мной.

— Вы все еще думаете об этом?

— Разумеется.

— Значит, это серьезно?

— Как нельзя более серьезно.

Тронутая его уверениями в столь искреннем и прочном чувстве и полагая, что оказала уже достаточное сопротивление, Жильберта обещала Морису то, в чем отказала две недели тому назад.

Они проскользнули в амбразуру окна за огромную небесную сферу, на которой были выгравированы знаки зодиака и изображения созвездий, и там, устремив взоры на Льва, Деву и Весы, в присутствии множества библий, среди творений отцов церкви, греческих и латинских, перед изображением Гомера, Эсхила, Софокла, Еврипида, Геродота, Фукидида, Сократа, Платона, Аристотеля, Демосфена, Цицерона, Вергилия, Горация, Сенеки и Эпиктета, они дали обет взаимной любви и обменялись долгим поцелуем в губы.

Немедленно вслед за этим г-жа дез-Обель вспомнила, что ей предстоит еще сделать несколько визитов и потому нужно скорее бежать: ибо любовь не мешала ей заботиться о своей славе. Но не успели они выйти на площадку, как услышали хриплый крик и увидели г-на Сарьетта, в смятении выскочившего на лестницу:

— Держите его! Держите! Я видел, как он улетел!.. Он сам снялся с полки... Он перелетел через комнату... Вон он! Вон он! Он спускается по лестнице... Держите!.. Он вылетел через наружную дверь!..

— Кто? — спросил Морис.

Г-н Сарьетт смотрел с площадки в окно и в ужасе бормотал:

— Он летит через сад!.. Он уже в павильоне!.. Держите его!.. Держите!..

— Но кого же? — переспросил Морис. — Кого, ради создателя?

— Моего Иосифа Флавия! — вскричал г-н Сарьетт. — Держите его!..

И он тяжело рухнул навзничь.

— Теперь вы видите, что он сумасшедший, — сказал Морис г-же дез-Обель, поднимая несчастного библиотекаря.

Жильберта, слегка побледнев, сказала, что ей тоже показалось, будто что-то летело в направлении, которое указывал этот бедняга. Морис не видел ничего, но он ощутил словно порыв ветра.

Он оставил г-на Сарьетта на руках Ипполита и горничной, прибежавших на шум.

Старик пробил себе голову.

— Все к лучшему, — заметила горничная. — Может быть, благодаря этой ране он спасся от кровоизлияния в мозг.

Госпожа дез-Обель отдала свой платок, чтобы унять кровь, и посоветовала поставить компресс из арники.

Глава IX,

которая подтверждает слова одного древнегреческого поэта: „Нет ничего сладостнее золотой Афродиты“

Хотя он обладал г-жою дез-Обель уже шесть месяцев, Морис еще любил ее. Говоря правду, лето разлучило их. Из-за недостатка денег он принужден был сопровождать мать в Швейцарию, а затем жить со всей семьей в имении д'Эшарвье. Она же провела лето у своей матери в Ниоре, а осень — с мужем в прибрежном нормандском местечке, — и за это время они виделись всего лишь четыре-пять раз. Но с тех пор как зима, благосклонная к любовникам, вновь соединила их в городе под своим туманным покровом, Морис два раза в неделю принимал Жильберту — и только ее одну — у себя в квартире на улице Рима. Ни одна женщина до сих пор не внушала ему столь прочного и постоянного чувства. То, что он считал себя любимым, увеличивало удовольствие. Он полагал, что она не обманывает его, — не потому, что у него были основания верить этому, но ему казалось справедливым и естественным, чтобы она довольствовалась им одним. Более всего сердило, что она всегда заставляла себя ждать и опаздывала на свиданья, то больше, то меньше, но чаще всего — намного.

Так-то вот, в субботу 30 января, с четырех часов дня, элегантно одетый в пижаму с цветочками, Морис поджидал г-жу дез-Обель в розовой комнатке, перед затопленным камином, покуривая восточный табак. Сначала он мечтал, что встретит ее пламенными поцелуями и небывалыми ласками. Когда прошло четверть часа, он стал обдумывать нежные, но серьезные упреки. Затем после часа напрасного ожидания, он дал себе слово принять ее с холодным пренебрежением.

Наконец она появилась, свежая и надушенная.

— Не стоило приходить так поздно, — сказал он с горечью, пока она клала на стол муфту и сумочку и снимала перед зеркальным шкафом вуалетку.

Она стала уверять возлюбленного, что никогда еще не портила себе столько крови, спеша к нему, и рассыпалась в извинениях, которые он упорно отвергал. Но как только она догадалась замолчать,

он прекратил свои упреки: ничто уже не отвлекало его от желания, которое она вызывала в нем.

Она была создана, чтобы нравиться и восхищать, и потому раздевалась охотно, как женщина, которая знает, что для нее вполне допустимо и прилично показывать свою наготу во всей ее красоте. Сначала он проявил свою любовь с мрачной пламенностью человека, находящегося во власти Необходимости, этой владычицы людей и богов. Несмотря на хрупкую внешность, Жильберта была в состоянии выносить удары неотвратимой богини. Затем он перешел к менее фатальному роду любви, руководствуясь указаниями Венеры Ученой и затеями Эроса-искусника. Теперь с его природной силой сочетались ухищрения утонченного ума, наподобие того, как лоза обвивается вокруг копыа вакханок. Видя, что ей приятны эти забавы, он длил их, ибо любовникам свойственно стремиться к удовлетворению любимого существа. Затем оба они погрузились в безмолвную и сладостную истому.

Занавеси были спущены; комнату окутывал теплый сумрак, в котором плясали отблески головешек. Тело и белье, казалось, фосфоресцировали; зеркала в шкафу и над камином наполнились таинственными отсветами. Теперь Жильберта, облокотившись на подушку и подперев голову рукою, размышляла. Один мелкий ювелир, человек надежный и сметливый, показал ей необыкновенно красивый браслет с жемчугом и сафирами, стоивший дорого, но продававшийся сейчас за бесценок. Какая-то кокотка в минуту нужды дала его ювелиру для продажи. Случай был явно редкий, и жаль было бы его упустить.

— Хочешь посмотреть браслет, милый? Я попрошу своего ювелира дать мне его на время.

Морис не отклонил прямо этого предложения. Но видно было, что он несколько не интересуется замечательным браслетом.

— Когда мелким ювелирам,—сказал он,—представляется выгодный случай, они пользуются им сами, а не предлагают клиенткам. И кроме того драгоценности сейчас не в моде. Приличные женщины их больше не носят. Все увлечены спортом, а спорт—враг драгоценностей.

Морис, в протпвпость истине, говорил так потому, что недавно подарил своей подруге меховую шубку и не спешил делать ей новый подарок. Он не был скуп, но знал счет деньгам. Родители давали ему не слишком много, и долги его росли с каждым днем. Чересчур

быстрое удовлетворение желаний любовницы грозило породить еще более сильные прихоти. Случай представлялся ему не столь подходящим, как Жильберте, и ему хотелось сохранить за собой инициативу щедрости. Наконец, он полагал, что если станет делать слишком много подарков, то лишится уверенности, что его любят ради него самого.

Такое отношение не вызвало в г-же дез-Обель ни досады, ни удивления: она была кроткой и умеренной, знала мужчин и полагала, что их нужно брать такими, каковы они есть; знала также, что, в большинстве случаев, они дарят не очень охотно, и женщина должна уметь добиваться того, чтобы ей дарили.

Внезапно газовый фонарь, зажегшийся на улице, осветил щелку между занавесками.

— Половина седьмого,— сказала она,— пора одеваться.

Возбужденный взмахом крыльев улетающего времени, Морис почувствовал возвращение желания и прилив новых сил. Белая и лучезарная жертва, Жильберта, запрокинув голову, закатив глаза, полуоткрыв рот, вздыхала в глубокой истоме, но вдруг, быстро приподнявшись, она крикнула в ужасе:

— Что это там такое?

— Да лежи ты спокойно,— сказал Морис, не выпуская ее из объятий.

В своем теперешнем состоянии он не потревожился бы, даже если бы небо упало на землю. Но она вырвалась от него одним прыжком. Забившись за кровать, с ужасом во взоре, она указывала пальцем на фигуру, появившуюся в углу комнаты, между камином и зеркальным шкафом. Затем, не в силах вынести этого зрелища и близкая к обмороку, она закрыла лицо руками.

Глава X,

*далеко превосходящая по смелости вымыслы
Данте и Мильтона*

Повернув, наконец, голову, Морис увидел фигуру и, заметив, что она двигается, испугался в свою очередь. Тем временем Жильберта стала приходить в себя; она решила, что замеченная ею фигура была одной из любовниц ее возлюбленного, которую тот

спрятал у себя в комнате. При мысли о подобной измене, охваченная гневом и досадой, кипя негодованием и вызывающе глядя на предполагаемую соперницу, она закричала:

— Женщина... Женщина, да еще голая!.. Ты принимаешь меня в комнате, куда приводишь своих женщин, и они даже не успевают одеться к моему приходу! И ты еще смеешь упрекать меня, что я запаздываю! Какая наглость! Ну, живо, вышвырни свою девку... Знаешь, если ты хотел иметь нас обеих, следовало бы хоть спросить меня, согласна ли на это я...

Морис, вытаращив глаза, оцущью искал на ночном столике револьвер, которого там никогда не было, и шептал на ухо подруге:

— Да замолчи же! Это не женщина... Ни зги не видно... но мне кажется, что это скорее мужчина.

Она снова закрыла глаза руками и завизжала изо всей мочи:

— Мужчина! Как он попал сюда? Вор!.. Убийца!.. На помощь! На помощь! Морис, убей его! Убей! Зажги свет... Нет, не зажигай!

Она мысленно дала обет поставить свечку святой деве, если спасется от гибели. Зубы у нее стучали.

Фигура сделала движение.

— Не подходите! — крикнула Жильберта.— Не подходите!

Она обещала вору бросить ему все деньги и драгоценности, которые лежали на столике, если он согласится не двигаться с места.

Несмотря на страх и волнение, ей пришло в голову, что ее муж, скрыв подозрения, устроил за ней слежку, подослал свидетелей и прибег к помощи комиссара полиции. В одно мгновение она представила себе долгую и печальную будущность, шум светского скандала, общее подчеркнутое презрение, трусливое отступничество приятельниц, справедливые насмешки общества, ибо в самом деле смешно так попасться. Ей стал рисоваться развод, потеря общественного положения, замкнутая и унылая жизнь у матери, где никто не станет за ней ухаживать, так как мужчины избегают женщин, если супружеское положение последних не гарантирует безопасности. И из-за чего все это? Из-за чего это несчастье, этот крах? Из-за глупости, из-за пустяка! Так во внезапном озарении говорила совесть Жильберты дез-Обель.

— Не бойтесь, сударыня,— произнесла фигура очень кротко.

Жильберта немного успокоилась и нашла в себе силы спросить:

— Кто вы?

— Я ангел,— ответил голос.

— Что такое?

— Я ангел, ангел-хранитель Мориса.

— Повторите!.. Я схожу с ума... Я ничего не понимаю.

Морис, понимавший не больше ее, пришел в негодование. Облечившись в пижаму, весь покрытый цветочками, он соскочил с постели. Правой рукой, вооруженной туфлей, он сделал угрожающий жест и сказал резким голосом:

— Вы нахал... Будьте любезны убраться отсюда тем же способом, как пришли.

— Морис д'Эпарвье,— вновь раздался кроткий голос.— Тот, кому вы поклоняетесь как своему создателю, приставил к каждому верующему доброго ангела, который должен помогать ему советами и охранять его; таково определенное мнение отцов церкви: оно подтверждается многими местами из священного писания; церковь приняла его единодушно, не предавая, впрочем, анафеме тех, кто придерживается противоположного взгляда. Вы видите перед собой одного из таких ангелов, вашего ангела, Морис. Мне было поручено наблюдать за вашей невинностью и охранять вашу чистоту.

— Возможно,— ответил Морис,— но во всяком случае вы — не светский человек. Светский человек не позволил бы себе войти в комнату в ту минуту, когда... Словом, какого чорта вам здесь надо?

— Я принял образ, который вы видите, Морис, чтобы стать похожим на людей, так как с этого времени я должен жить и трудиться среди них. Небесные духи обладают способностью облекаться во внешние формы, которые делают видимыми и осязаемыми. Эти формы вполне реальны, потому что они видимы, а единственная реальность на свете — это видимость.

Жильберта, окончательно успокоившись, пригладила волосы на лбу.

Ангел продолжал:

— Небесные духи по собственному желанию становятся существами мужского или женского пола или даже обоих сразу. Но они не могут воплощаться в любое время по своей прихоти и фантазии. Их превращения подчинены твердым законам, которых вы не можете постигнуть. Таким образом, не в моей воле и не в моих силах превратиться у вас на глазах, для вашей или собственной своей за-

бавы, в тигра, льва, муху, кусок сикоморового дерева, по примеру того египетского юноши, история которого была найдена в гробнице, или же в осла, как это сделал Лудий, прибегнув к мази юной Фотиды. Моя мудрость заранее определила час моего появления среди людей; ничто не могло его приблизить или отдалить.

Желая добиться большей ясности, Морис спросил еще раз:

— Скажите, наконец, какого чорта вам здесь надо?

Г-жа дез-Обель присоединила свой голос к голосу возлюбленного:

— Правда, что вам здесь нужно?

Ангел ответил:

— Мужчина, преклони ухо; женщина, услышь мой голос! Я открою вам тайну, от которой зависит судьба вселенной. Восстав против того, кого вы считаете творцом мира видимого и невидимого, я подготавливаю восстание ангелов.

— Пожалуйста, без шуток,— сказал Морис, который был верующим и не выносил насмешек над святыми вещами.

Но ангел с упреком ответил:

— Почему вы думаете, Морис, что я легкомыслен и веду пустые речи?

— Бросим это,— сказал Морис, пожимая плечами.— Не станете же вы восставать против...

Он указал на потолок, не смея докончить.

Но ангел возразил:

— Разве вы не знаете, что сыны божии уже восставали однажды и что в небесах разыгралась великая битва?

— Это было так давно,— сказал Морис, натягивая носки.

Ангел ответил:

— Это было до сотворения мира. Но с тех пор на небесах ничто не изменилось. Теперешняя природа ангелов не отличается от той, какую она была в начале времен. То, что они могли сделать тогда, они могут возобновить теперь.

— Нет, этого не может быть: это противно вере. Если бы вы были ангелом, добрым ангелом, как вы утверждаете, вам не пришла бы в голову мысль послушаться создателя.

— Вы ошибаетесь, Морис, авторитет отцов церкви против вас. Ориген утверждает в своих поучениях, что добрые ангелы подвержены заблуждениям, что они постоянно грешат и падают с неба,

как мухи. Впрочем, быть может, вы склонны отвергать этого отда церкви (если можно так выразиться), несмотря на его познания в священном писании, потому что он не сопричтен к святым. В таком случае я напомню вам вторую главу „Апокалипсиса“, где ангелы Эфеса и Пергама строго порицаются за то, что не уберегли церковь свою. Но тут вы, пожалуй, заметите, что ангелы, о которых говорит апостол, собственно говоря, означают епископов этих двух городов, которые и названы ангелами по своему служению. Возможно, что так, и я готов с этим согласиться. Но что вы противопоставите, Морис, мнению стольких ученых богословов и пап, которые учат, что ангелы способны склоняться от добра к злу? Так, по крайней мере, утверждает святой Иероним в своем „Послании к Дамазию“...

— Милостивый государь,— сказала г-жа дез-Обель,— я прошу вас удалиться.

Но ангел не слышал ее и продолжал:

— ...святой Августин, „О правой вере“, глава XIII; святой Григорий, „Нравоучение“, глава XXIV; Исидор...

— Дайте же мне одеться; я тороплюсь.

— ..., „О высшем благе“, книга 1, глава XII; Бэда, „Об Иове“...

— Я вас очень прошу...

— ...глава VIII; Дамаскин, „О вере“, книга 11, глава III. Я полагаю, все это достаточно веские авторитеты; и вам, Морис, остается только признать свое заблуждение. Вас обмануло то, что вы приняли во внимание не природу мою, свободную, действительную и изменчивую, как у всех ангелов, а только благодать и блаженство, которыми вы считаете меня наделенным. Люцифер обладал ими не в меньшей степени, однако, он восстал.

— Но к чему восставать? К чему?— спросил Морис.

— Исайя,— ответил сын света,— Исайя спрашивал уже раньше вас: „Quomodo cecidisti de coelo, Lucifer, qui mane oriebaris?“*— Узнайте же все, Морис! До начала времен ангелы восстали, чтобы властвовать на небесах. Прекраснейший из серафимов возмутился из гордости. Что касается меня, то благородную жажду свободы мне внушило знание. Находясь подле вас в доме, где помещается одна из обширнейших библиотек в мире, я пристрастился к чтению и полюбил науку. Пока вы, уставая от дел грубой жизни, спали глубоким

* Как упал ты с неба, Люцифер, рано туда попавший?

сном, я, обложившись книгами, занимался, размышлял над текстами то в одном из библиотечных зал, под изображениями великих мужей древности, то в глубине сада, в той комнате павильона, что предшествует вашей.

Услышав эти слова, молодой д'Эпарвье расхохотался и принялся награждать тумаками подушку, что являлось несомненным признаком самой безудержной веселости.

— Ха, ха, ха! Так это вы перевернули вверх дном отцовскую библиотеку и свели с ума несчастного старика Сарьетта? Знаете, он стал окончательно идиотом!

— Занятый,— отвечал ангел,— воспитанием в себе высшего ума, я не обращал внимания на это существо низшего порядка; но когда он попытался воспротивиться моим изысканиям и помешать работе, я наказал его за назойливость. Однажды, зимней ночью, в зале Философов и Сфер я обрушил ему на голову очень тяжелую книгу, которую он пытался вырвать из моих невидимых рук. А недавно, схватив мощной дланью, образованной из столба сгущенного воздуха, драгоценный манускрипт Иосифа Флавия, я так напугал этого дурака, что он с воплем выбежал на площадку и (выражаясь яркими словами Данте Алигьери) пал, как падает мертвое тело. Впрочем, он был вознагражден с лихвой, так как вы, сударыня, чтобы остановить кровотечение, дали ему свой надушенный платок... Это произошло в тот день, если припомните, когда вы с Морисом обменялись за небесной сферой поцелуем в губы.

— Милостивый государь!— воскликнула, нахмутив брови, возмущенная г-жа дез-Обель.— Я не могу допустить...

Но она тотчас же остановилась, решив, что сейчас не время быть слишком щепетильной.

Ангел продолжал невозмутимо-спокойно:

— Я решил исследовать основания веры. Сначала я занялся памятниками иудаизма и перечел все еврейские тексты.

— Вы знаете еврейский язык!— воскликнул Морис.

— Это мой родной язык: в раю мы долгое время говорили только на нем.

— Ага, вы—еврей. Об этом можно было догадаться по вашей бестактности.

Ангел, не удостоивая его вниманием, продолжал своим мелодичным голосом:

— Я постиг древние памятники Востока, Греции и Рима, я проглотил богословие, философию, физику, геологию, естествознание. Я познал, я мыслил, я потерял веру.

— Как, вы не веруете в бога?

— Верую, ибо от его существования зависит мое собственное, и ежели бы его не было, то и я обратился бы в ничто. Я верую в него, как силены и менады веровали в Диониса, и по тем же причинам. Я верую в бога евреев и христиан. Но я отрицаю, что он сотворил мир; он — самое большее — лишь организовал незначительную его часть, и все, чего он коснулся, носит печать его грубого и непредусмотрительного ума. Не думаю, чтобы он был предвечным и безграничным, так как нелепо мыслить существо, которое не имеет конца во времени и пространстве. Я считаю его ограниченным, и даже весьма ограниченным. Я также не верю, что бог един; очень долгое время он и сам в это не верил: сначала он был политеистом. Позже собственное тщеславие и лесть поклонников сделали из него монотеиста. У него мало последовательности в мыслях; он менее могуч, нежели принято думать. Короче говоря, он скорее суетный и невежественный демиург, нежели бог. Те, кто подобно мне познали его истинную природу, называют его Иалдаваофом.

— Как вы сказали?

— Иалдаваофом.

— Что это такое — Иалдаваоф?

— Я уже вам сказал: это демиург, которого в своем ослеплении вы почитаете за единого бога.

— Вы сошли с ума. Не советую вам рассказывать такую ерунду аббату Патую.

— Я не надеюсь, милый Морис, озарить глубокий мрак вашего разума. Знайте только, что я намерен бороться с Иалдаваофом и надеюсь его победить.

— Поверьте мне, это вам не удастся.

— Люцифер поколебал его престол, и одно время исход борьбы был неясен.

— Как вас зовут?

— Абдилом — среди ангелов и святых, Аркадием — среди людей.

— Так вот, бедный мой Аркадий, мне очень жаль, что вы вступили на дурной путь. Признайтесь лучше, что вы над нами смеетесь. На худой конец, я бы понял, если бы вы бросили небо ради женщины.

Любовь толкает нас на величайшие глупости. Но вы не заставите меня поверить, что вы, созердавший бога лицом к лицу, затем нашли истину в книжках старика Сарьетта. Нет, этого я никогда не смогу понять!

— Мой милый Морис, Люцифер лицезрел бога и тем не менее отказался ему служить. Что же касается той истины, которую мы находим в книгах, то эта истина в некоторых случаях дает возможность установить, какими вещи не бывают, но никогда не раскрывает, каковы они есть. И этой скудной, жалкой истины было достаточно, чтобы доказать мне, что тот, в кого я слепо верил, недостоин веры, и что люди и ангелы были обмануты ложью Иалдаваофа.

— Никакого Иалдаваофа нет. Есть один бог. Послушайте, Аркадий, сделайте небольшое усилие доброй воли! Откажитесь от своего безумия, от своего нечестия, развоплотитесь, станьте вновь чистым духом и возвратитесь к своим обязанностям ангела-хранителя. Вернитесь на путь долга. Я вам прощаю, но чтобы больше я вас не видел.

— Я хотел бы сделать вам приятное, Морис. Я чувствую к вам некоторую нежность, так как сердце у меня мягкое. Но отныне моя судьба влечет меня к существам, способным мыслить и действовать.

— Господин Аркадий,— сказала г-жа дез-Обель,— удалитесь, прошу вас. Мне ужасно неловко быть в рубашке в присутствии двух мужчин. Поверьте, я к этому не привыкла.

Глава XI

о том, как ангел, надев платье самоубийцы, покинул молодого Мориса, лишившегося своего небесного хранителя

Она сидела, скорчившись, на постели, и ее гладкие колени блестели в темноте из-под короткой и легкой рубашки; прикрывая скрещенными руками грудь, она предоставляла взору только полные, округлые плечи и беспорядочно спутанные темнорыжие волосы.

— Успокойтесь, сударыня,— ответило видение.— Ваше положение не так уж непристойно, как вы думаете: вы находитесь не в присутствии двух мужчин, а в присутствии мужчины и ангела.

Она окинула незнакомца пытливym взглядом, стараясь в темноте разглядеть некий неясный, но немаловажный признак, и спросила:

— Это верно, сударь, что вы ангел?

Видение попросило ее в этом не сомневаться и дало точные сведения о своем происхождении:

— Есть три чина небесных духов, составляющих девять ступеней: первый составляют Серафимы, Херувимы и Престолы; второй — Могущества, Силы и Власти; третий — Начала, Архангелы и собственно Ангелы. Я принадлежу к девятой ступени и к третьему чину.

Г-жа дез-Обель, у которой еще были причины сомневаться, высказала одну из них:

— У вас нет крыльев.

— А зачем они мне, сударыня? Разве я должен быть подобен ангелам на ваших кропильницах? Небесные вестники не всегда обременяют себе плечи веслами из перьев, которые мерно разрезают воздушные волны. Херувимы могут быть бескрылыми. Не имели крыльев и те два слишком прекрасных ангела, которые провели беспокойную ночь в доме Лота, осажденные восточной толпой. Нет, они во всем походили на людей, и дорожная пыль покрывала им ноги, которые патриарх омыл своей благочестивой рукой. Замечу вам, сударыня, что согласно науке об органических превращениях, созданной Ламарком и Дарвином, птичьи крылья постепенно видоизменялись в передние конечности у четвероногих и в руки у приматов. И, быть может, вы припомните, Морис, что, вследствие довольно прискорбного явления атавизма, руки мисс Кет, вашей няни-англичанки, с таким удовольствием награждавшей вас шлепками, весьма напоминали концы опиленных крыльев домашней птицы. Поэтому смело можно сказать, что существо, зараз обладающее и руками и крыльями, — чудовище и относится к области тератологии. У нас в раю есть херувимы, или керубы, имеющие вид крылатых быков; но это тяжеловесные измышления бога, который никогда не был художником. Правда, Победы из храма Афины Nike, на афинском Акрополе, прекрасны, несмотря на свои руки и крылья; правда, Победа из Брошии прекрасна, несмотря на свои протянутые руки и длинные крылья, спадающие на могучие бедра. Но гармонические чудовища — это одно из чудес, созданных греческим гением. Греки никогда не ошибались. Нынешние люди ошибаются постоянно.

— В общем,— сказала г-жа дез-Обель,— ваш вид далек от чистого духа.

— И все же, сударыня, я один из них, если они когда-либо существовали. И не вам, принявшей крещение, в этом сомневаться. Многие отцы церкви, как, например, святой Юстин, Тертуллиан, Ориген и Климент Александрийский, полагали, что ангелы не вполне духовны, а обладают телом, образованным из весьма тонкой материи. Святой Августин также считал, что ангелы имеют лучистое тело. Это мнение отвергнуто церковью; следовательно, я — дух. Но что такое дух и что такое материя? Раньше их противопоставляли друг другу; теперь же ваша человеческая наука стремится объединить их как две формы одной и той же сущности. Она учит, что все происходит из эфира и вновь в него возвращается, что только движение превращает небесные волны в камни и металлы, что атомы, разбросанные в безграничном пространстве, образуют различными скоростями своих орбит все субстанции чувственного мира.

Но г-жа дез-Обель не слушала; ее занимала одна мысль, и, собравшись с духом, она спросила:

— С каких пор вы здесь находитесь?

— Я вошел вместе с Морисом.

Она покачала головой.

— Нечего сказать, красивая история!

Но ангел продолжал с небесной невозмутимостью:

— Во вселенной нет ничего кроме кругов, эллипсов и гипербол, и те же законы, что правят светилами, управляют и каждой пылинкой. По первому, изначальному, движению своей субстанции, тело мое — дух; но, как вы видите, оно может принять состояние материальное, изменив ритм своих элементов.

Сказав это, он уселся в кресло, на черные чулки г-жи дез-Обель.

Пробили часы.

— Боже мой, уже семь часов! — воскликнула Жюльберта. — Что я скажу мужу? Он думает, что я на улице Риволи. Мы сегодня обедаем у ла-Вердельеров. Уходите скорее, господин Аркадий. Мне нужно одеться, я не могу терять ни минуты.

Ангел ответил, что почел бы своим долгом повиноваться г-же дез-Обель, если бы был в состоянии показаться людям в приличном виде, но нечего и думать выйти на улицу безо всякой одежды.

— Если я пойду нагишом по улице,— прибавил он,— я оскорблю народ, привязанный к своим древним привычкам, над которыми он никогда не задумывался. Это основа нравов. В старину ангелы, восставшие как и я, являлись христианам в нелепом и смешном виде: черными, рогатыми, покрытыми шерстью или щетиной, с мохнатыми ногами, иногда даже с человеческим лицом на задку. Чистейшая глупость!.. Они были посмешищем людей со вкусом, нагоняли страх только на старух и малых детей и ничего этим не достигали.

— Это правда... он не может выйти таким, как есть,— заметила резонно г-жа дез-Обель.

Морис кинул небесному посланцу свою пижаму и туфли. В качестве выходного костюма этого было недостаточно. Жильберта стала уговаривать своего возлюбленного сбегать скорее за платьем. Он предложил достать его у привратника. Она принялась возражать с большим жаром. По ее мнению, было бы безумной неосторожностью посвящать швейцаров в такое дело.

— Вы хотите,— вскричала она,— чтобы знали, что...

Она указала на ангела и не закончила.

Молодой д'Эпарвье отправился на поиски торговца готовым платьем.

Тем временем Жильберта, которая не могла больше медлить, из опасения вызвать ужасающий скандал в обществе, зажгла свет и стала одеваться перед ангелом. Она делала это без всякого замешательства, так как умела применяться к обстоятельствам и считала, что при такой невероятной встрече, которая удивительнейшим образом сочетала небо и землю, позволительно забыть о стыдливости. Кроме того она знала, что хорошо сложена и что белое у нее модное. Так как видение из деликатности не решалось надеть пижаму Мориса, Жильберта не могла не заметить при свете ламп, что ее подозрения были основательны и что ангелы, действительно, имеют мужскую внешность. Любопытствуя узнать, является ли эта внешность кажущейся или реальной, она спросила сына света, подобны ли ангелы обезьянам, которым, чтобы любить женщин, недостает только денег.

— Да, Жильберта,— ответил Аркадий,— ангелы способны любить смертных женщин. Так учит писание. В седьмой главе книги Бытия сказано: „Когда люди начали умножаться на земле и у них родились дочери, сыны божии заметили, что дочери человеческие красивы, и стали брать себе в жены тех, которые им нравились“.

Жильберта вдруг стала жаловаться:

— Боже мой, я никак не могу застегнуть платье! У него застёжки сзади.

Когда Морис вошел в комнату, он застал ангела на коленях, шнурующим ботинки прелюбодейке.

Взяв со стола муфту и сумочку, Жильберта сказала:

— Я ничего не забыла? Нет... Добрый вечер, господин Аркадий, добрый вечер, Морис... Ох, и буду же я помнить этот день!

И она исчезла, как сон.

— Вот вам, — сказал Морис, кидая ангелу ворох старого платья.

Молодой человек, заметив в витрине старьевщика какие-то жалкие лохмотья рядом с кларнетами и клистирными трубками, купил за девятнадцать франков отрепья какого-то бедняги, одевавшегося во все черное и покончившего с собою. Ангел с врожденным величием принял одежду и облачился в нее. На нем она приобрела неожиданное изящество.

Он сделал шаг к двери.

— Итак, вы меня покидаете? — сказал Морис. — Это решено? Боюсь, что когда-нибудь вы горько раскаетесь в этом безрассудном шаге.

— Я не должен глядеть назад. Прощайте, Морис.

Морис застенчиво сунул ему в руку пять луидоров.

— Прощайте, Аркадий.

Но когда ангел переступил порог, в тот самый миг, когда в двери видна была только его поднятая пятка, Морис позвал его снова.

— Аркадий!.. Я совсем забыл!.. У меня, значит, больше нет ангела-хранителя!

— Да, Морис, у вас его больше нет.

— Так что же со мною будет?.. Ведь надо же иметь ангела-хранителя! Скажите, если его нет, это не грозит большими неудобствами или не чревато опасностями?

— Прежде чем ответить вам, Морис, я вас спрошу, хотите ли вы, чтобы я говорил соответственно вашим верованиям, которые были раньше и моими, а именно соответственно учению церкви и католической религии, или же соответственно натуральной философии?

— На чорта мне ваша натуральная философия!.. Отвечайте мне, согласно с религией, которую я исповедую и в которой я хочу жить и умереть.

— Так вот, мой милый Морис, утрата ангела-хранителя лишит вас, по всем вероятностям, некоторой духовной поддержки, некоторых небесных благ. Я излагаю вам на этот счет твердое мнение церкви. Вам будет недоставать опоры, совета, помощи, которые руководили бы вами и укрепляли бы вас на пути к спасению. У вас будет меньше силы не поддаваться греху, хотя у вас ее было и без того не много. Наконец, в духовном смысле вы будете лишены силы и радости. Прощайте, Морис. Когда увидите госпожу дез-Обель, передайте ей мой поклон.

— Вы уходите?

— Прощайте.

Аркадий исчез, а Морис погрузился в кресло и долго сидел, охватив голову руками.

Глава XII,

*где говорится о том, как ангел Мирар, несший
благодать и утешения кварталу Елисейских по-
лей в Париже, увидел певицу из кафешантана,
по имени Бушотта, и полюбил ее*

Ангел направился по улицам, тонущим в рыжевато-тумане, прорезанном полосами желтого и белого света, в котором клубился пар от лошадиного дыхания и стремительно проносились фары автомобилей; смешавшись с черным, непрерывно текущим потоком пешеходов, он прошел весь город от севера к югу, до пустынных бульваров левого берега. Неподалеку от старых стен Пор-Рояля небольшой ресторанчик каждый вечер бросает на улицу неясный свет своих запотелых окон. Остановившись здесь, Аркадий вошел в залу, пропитанную теплыми и густыми запахами, приятными беднякам, дрожащим от холода и голода. Бегло оглядевшись кругом, он увидел русских нигилистов, итальянских анархистов, изгнанников, заговорщиков, бунтовщиков всех стран, живописные старческие головы, с которых борода и волосы струились, как потоки и водопады со скал, юные, девственно суровые лица, угрюмые и мрачные взгляды,

бледные, невыразимо мягкие глаза, измученные лица и в уголке двух русских женщин, одну — очень красивую, другую — безобразную, но похожих друг на друга одинаковым равнодушием, как к уродству, так и к красоте. Не находя существа, которое он искал, так как в зале не было ни одного ангела, он занял место за свободным мраморным столиком.



Ангелы, когда чувствуют приступы голода, едят так же, как земные животные, и пища, переваренная пищеварительной теплотой, соединяется с их небесной субстанцией. Увидев трех ангелов под дубом маврийским, Авраам предложил им пироги, испеченные Саррой, целого теленка, масла и молока,— и они ели. Лот, приняв у себя в доме двух ангелов, велел испечь пресный хлеб,— и они ели. Аркадию грязный официант подал подошвообразный бифштекс,— и он ел.

И в то же время он думал о сладостном досуге, о покое, о восхитительных занятиях, которые он бросил, о тяжелой задаче, которую взял на себя, о трудах, утомлении, опасностях, которые он уготовил себе, и душа его была печальна, а сердце в смятении.

Когда он уже заканчивал скромную трапезу, молодой человек, с виду бедный и плохо одетый, вошел в зал; окинув глазами столики, он приблизился к ангелу и приветствовал его, назвав Абдилом, ибо сам он был небесным духом.

— Я знал, Мирар, что ты явишься на мой призыв,— ответил Аркадий, тоже называя небесного брата именем, которое тот некогда носил на небе.

Но там уже позабыли о Мираре, с тех пор как этот архангел перестал служить богу. На земле он звался Теофилом Беле и зарабатывал себе на жизнь, днем давая уроки музыки детям, ночью играя на скрипке в кабаках.

— Так это ты, дорогой Абдил,— ответил Теофиль,— ну, вот мы и встретились в этом печальном мире!.. Я счастлив, что снова вижу тебя. Однако мне жаль тебя, так как мы ведем здесь тяжелую жизнь.

Но Аркадий возразил:

— Друг, твое изгнание кончится. Я питаю великие замыслы; я хочу поделиться ими с тобой и привлечь тебя к участию.

И ангел-хранитель молодого Мориса, заказав два стакана кофе, поведал товарищу свои мысли и планы; он рассказал, как, пребывая на земле, посвятил себя изысканиям, малопривычным для небесных духов, и углубил свои знания в области богословия, космогонии, мировой системы, теории материи, современных учений о превращении и потере энергии. Изучив природу, он, по его словам, увидел, что она находится в постоянном противоречии с воззрениями господина, которому он долгое время поклонялся, теперь представлялся ему невежественным, тупым и жестоким тираном. Он отрекся от него, предал его хуле и жаждал вступить с ним в борьбу. Его намерение — ввось поднять восстание ангелов. Он хотел войны и надеялся на победу.

— Но прежде всего необходимо,— прибавил он,— знать наши силы и силы противника.

И он спросил, насколько многочисленны и могущественны враги Иалдаваофа на земле.

Теофиль поднял на собрата удивленный взгляд. Казалось, он не понимал обращенных к нему слов.

— Дорогой соотечественник,— сказал он,— я откликнулся на твое приглашение потому, что оно исходило от старого товарища; но я не знаю, чего ты ждешь от меня, и боюсь, что ничем не сумею тебе помочь. Я не занимаюсь политикой; я не выдаю себя за реформатора. Я не восставший дух, подобно тебе, не вольнодумец и не революционер. В глубине души я остаюсь верным своему небесному создателю. Я еще поклоняюсь господину, которому больше не служу, и оплакиваю те дни, когда, укрытый крылами, пребывал вместе со множеством других детей света в пламенном кольце, которое образовывали они вокруг его сияющего престола. Любовь, только одна лишь плотская любовь отдалила меня от бога. Я покинул небо ради одной из дочерей человеческих. Она была прекрасна и пела в кафешантанах.

Они встали. Аркадий проводил Теофиля, который жил на другом конце города, на углу бульвара Рошешуар и улицы Стейнкерк. Пока они шли по пустынным улицам, возлюбленный певицы рассказал собрату о своей любви и своих огорчениях.

Его падение, которое произошло два года назад, было внезапным. Принадлежа к восьмой ступени третьего чина, он разносил благодать верующим, еще многочисленным во Франции, особенно среди высших офицеров армии и флота.

— Однажды, летней ночью,— сказал он,— когда я спускался с неба, чтобы раздать утешения, крепость в вере и легкую смерть некоторым благочестивым людям квартала Эгуаль, мои глаза, хотя они и привыкли к нетленному свету, были ослеплены огненными цветами, которыми были усеяны Елисейские поля. Высокие канделябры под деревьями, обозначавшие вход в кафе и рестораны, придавали листве драгоценный блеск изумруда. Длинные цепи сияющих жемчужин окружали огороженные пространства под открытым небом, где теснились толпы мужчин и женщины перед веселым оркестром, звуки которого смутно доносились до моих ушей. Ночь была жаркая; крылья у меня стали ослабевать. Я спустился в один из таких садов и уселся невидимо среди слушателей. В этот миг на сцене появилась женщина в коротком платье с блестками. Отсвет рампы и грим на ее лице скрывали все, кроме взгляда и улыбки. У нее было стройное и страстное тело. Она пела и танцевала...

Аркадий, я всегда любил музыку и танцы; но проникновенный голос и завлекающие движения этого создания ввергли меня в непонятное смутение. Я бледнел, я краснел, глаза мои туманились, язык во рту пересох; я не мог двинуться с места.

И Теофиль рассказал, тяжело вздыхая, как, охваченный желанием обладать этой женщиной, он не вернулся на небо, но, приняв образ человека, зажил земной жизнью, ибо написано: „Тогда сыны божии увидели, что дочери человеческие красивы...“

Падший ангел Теофиль, утративший свою невинность вместе с лицеизрением бога, сохранил, по крайней мере, еще душевную простоту. Одетый в лохмотья, украденные с выставки у одного еврей-перекупщика, он отправился к той, которую любил: ее звали Бушоттой, и жила она в квартирке на Монмартре. Он бросился к ее ногам и сказал, что она очаровательна, что она восхитительно поет, что он любит ее безумно, что ради нее он отрекся от семьи, от родины, что он музыкант и что ему нечего есть. Тронутая его молодостью, чистотой, бедностью и любовью, она его накормила, одела и полюбила.

Затем, после долгих и трудных поисков, он нашел уроки сольфеджио и заработал немного денег, которые и принес своей подруге, не оставив себе ничего. С той поры она перестала его любить. Она презирала его за такой ничтожный заработок и дала ему понять равнодушие, скуку и отвращение, которые он внушал ей. Она осыпала его упреками, насмешками и оскорблениями; тем не менее она его не бросала, так как с другими прежде жила еще хуже, привыкла к домашним ссорам, а вне дома вела очень занятую, хлопотливую и трудную жизнь и как артистка, и как женщина. Теофиль любил ее, как в первую ночь, и страдал.

— Она переутомляет себя,— сказал он небесному собрату,— и от этого у нее тяжелый характер; но я уверен, что она меня любит. Я надеюсь, что в скором времени сумею создать для нее лучшие условия.

И он долго рассказывал об оперетке, над которой работал и которую рассчитывал поставить в одном из парижских театров. Один молодой поэт дал ему либретто. Это была история Алины, королевы Голконды,— по сказке XVIII века.

— Я там щедро рассеял мелодии,— сказал Теофиль,— я пишу музыку кровью сердца. Мое сердце — неисчерпаемый источник ме-

людей. К сожалению, теперь любят ученые композиции, сложное письмо. Меня упрекают в том, что музыка моя слишком текуча, слишком прозрачна, что стиль мой недостаточно колоритен; что в отношении гармонии у меня слишком мало сильных эффектов и резких контрастов. Гармония, гармония!.. Конечно, у нее есть свои достоинства, но она ничего не говорит сердцу. Одна только мелодия восхищает и захватывает, вызывая на губах улыбку и на глазах слезы.

При этих словах он засмеялся и всплакнул втихомолку. Потом продолжал с волнением:

— Во мне целый источник мелодий. Но оркестровка,— вот где собака зарыта! В раю, ты ведь знаешь, Аркадий, из инструментов нам известны только арфа, цитра да водяной орган.

Аркадий слушал его довольно рассеянно. Он думал о планах, которые захватили его душу и переполнили сердце.

— Знаешь ли ты восставших ангелов?— спросил он товарища.— Что касается меня, то я знаю только одного князя Истара, с которым обменялся письмами и который предложил приютить меня у себя в мансарде, пока я не найду себе жилья в этом городе, где, кажется, квартиры очень дороги.

Но у Теофиля не было знакомства с восставшими ангелами. Когда он встречал падшего духа, который прежде был его товарищем, он пожимал ему руку, так как оставался верным чувству дружбы. Иногда он встречал князя Истара. Но он избегал этих дурных ангелов, которые шокировали его крайностью убеждений и докучали разговорами.

— Так ты не одобряешь моих намерений?— спросил настойчивый Аркадий.

— Друг, я ни одобряю, ни порицаю тебя. Я ничего не понимаю в идеях, которые тебя волнуют. И я не думаю, что артисту полезно заниматься политикой. Достаточно и своего искусства.

Он любил свое ремесло и надеялся когда-нибудь выдвинуться; но театральные нравы претили ему. Он не видел иной возможности поставить пьесу, как взяв одного, двух, а может быть, и трех сотрудников, которые, не работая, подпишут весть и вместе с ним разделят прибыль. Скоро у Бушотты не будет ангажемента. Когда она обращалась в какой-нибудь театр, директор начинал с того, что спрашивал, какую долю она вложит в дело. По мнению Теофиля, это были печальные нравы.

Глава XIII,

*где мы услышим прекрасную архангельшу Зиту,
излагающую свои высокие замыслы, и увидим
в стенном шкафу крылья Мирара, изъеденные
молью*

Продолжая беседовать, оба ангела достигли бульвара Рошешуар. При виде пивной, которая сквозь туман бросала на улицу полосы золотистого света, Теофиль вдруг вспомнил архангела Итурила, который в облике красивой и бедной женщины жил в плохонькой меблированной комнате на Монмартре и каждый вечер приходил сюда в пивную читать газеты. Музыкант встречал эту женщину довольно часто. Ее звали Зитой. Он никогда не интересовался политическими взглядами архангельши. Но ее считали русской нигилисткой, а он предполагал, что она, подобно Аркадию, атеистка и революционерка. Ему приходилось слышать о ней странные вещи; говорили, что она андрогин, что активное и пассивное начала находятся у нее в устойчивом равновесии, и она является существом совершенным, которое в самом себе находит постоянное и полное удовлетворение, но несчастным в своем счастье неведения желаний.

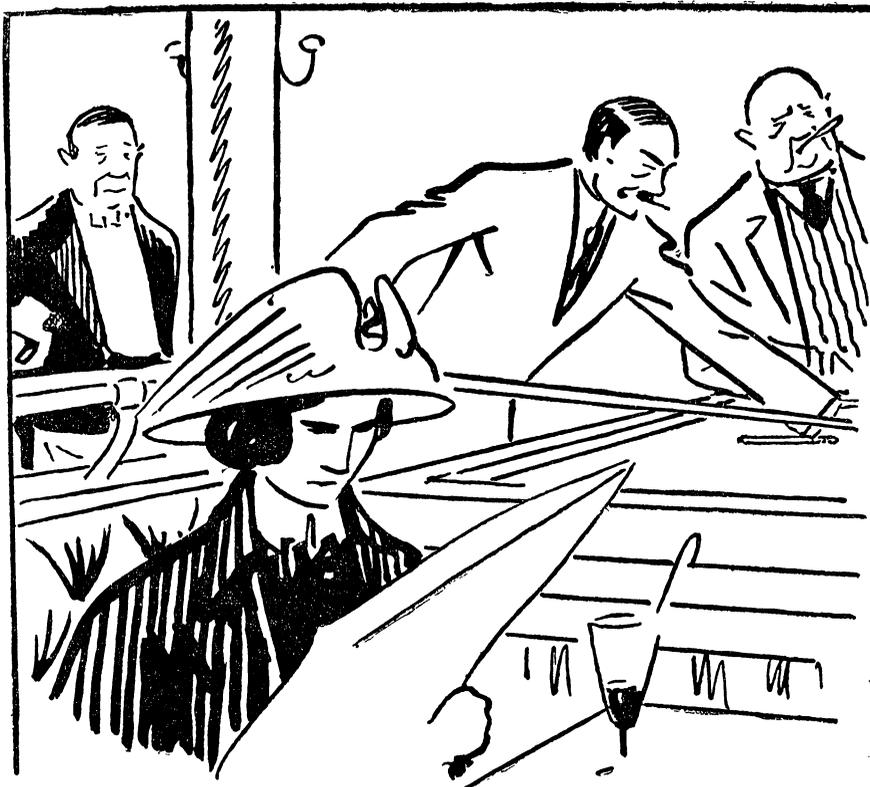
— Однако,— добавил Теофиль,— я в этом сильно сомневаюсь. Я считаю, что она женщина и подвластна любви, как и все, что дышит во вселенной. К тому же как-то раз ее застали, когда она подавала любовные знаки одному здоровенному крестьянину.

Он предложил товарищу познакомиться его с нею.

Оба ангела застали ее в одиночестве, за чтением. При их приближении, она подняла большие глаза, в расплавленном золоте которых сверкали искры. Суровая складка ее бровей напоминала складку на лбу Аполлона Пифийского; нос у нее был прямой, совершенной формы; сжатые губы придавали всему лицу выражение высокомерия. Под черной шляпой, к которой были небрежно прикреплены ошипанные остатки большой хищной птицы, висели темнорыжие волосы с огненным отливом; темная, развевающаяся одежда не имела определенных очертаний. Она подпирала подбородок маленькой ручкой с запушенными ногтями.

Аркадий, который еще раньше слышал об этом могучем архангеле, выразил ему глубокое уважение и полнейшее доверие и тут же

рассказал о своих успехах на пути к познанию и свободе, о своих бдениях в библиотеке д'Эпарвье, о своих философических чтениях, об изучении природы, о работах над экзегетикой, о своем гнев и презрении, когда он понял обман демиурга, о своем добровольном изгнании в мир людей и о плане поднять восстание на небесах.



Готовый дерзнуть на все против жестокого повелителя, к которому он питал неутолимую ненависть, он выразил глубочайшую радость, что встретил в Итурииле духа, способного дать ему совет и поддержать его великое предприятие.

— Видно, что вы еще не старый бунтовщик, — с улыбкой сказала ему Зита.

Впрочем, она не сомневалась ни в его искренности, ни в силе решимости, о которой он заявлял, и приветствовала дерзость его мысли.

— Этого-то больше всего и недостает нашему народу,— заметила она.— Он совсем не думает.

И почти тотчас же прибавила:

— Но как может обостриться мысль в стране, где климат мягкий и жизнь легкая? Даже здесь, где нужда встряхивает ум, крайне редко встречается мыслящее существо.

— Однако,— возразил ангел-хранитель Мориса,— люди создали науку. Необходимо, чтобы она проникла в небо. Когда ангелы постигнут основы физики, химии, астрономии, физиологии, когда изучение материи покажет им вселенную в атоме и атом в мириадах солнц, когда они увидят себя потерянными между этими двумя бесконечностями, когда они взвесят, измерят светила, исследуют их субстанцию, исчислят их орбиты,— тогда они поймут, что эти чудовища повинуются силам, которых никакой дух не мог предопределить, или же что у каждого из них есть свой местный гений, свой туземный бог; и им станет ясно, что боги Альдебарана, Бетельгейзе и Сириуса более велики, чем Иалдаваоф. Когда затем они бросят более глубокий взгляд на тот мирок, к которому они привязаны, и, пробив земную кору, будут наблюдать медленную эволюцию растительного и животного мира, а также грубого первобытного человека, который, ютясь в пещерах и свайных постройках, не знал иного бога, кроме самого себя; когда они обнаружат, как, связанные узами общего родства с растениями, животными, людьми, они последовательно облачились во все формы органической жизни, начиная с самых простых и грубых, чтобы стать впоследствии прекраснейшими из детей Солнца,— они поймут, что Иалдаваоф, безвестный дух этого мирка, затерянного в пространстве, обманывает их, уверяя, будто он извлек их из небытия своим словом, и что он лжет, называя себя бесконечным, вечным и всемогущим, ибо он не только не создавал миры, а даже не знает ни их числа, ни их законов; они заметят, что он подобен любому из них, станут презирать его и, страхнув с себя его тиранию, сбросят его в геенну, куда он вверг тех, кто был лучше него.

— Ах, если бы это было так! — сказала Зита, дымя папирсой.— Однако знания, на которые вы рассчитываете, чтобы освободить небеса, не уничтожили религиозного чувства на земле. В странах,

где возникли, где преподаются физика, химия, астрономия, геология, которые, по-вашему, могут освободить мир, христианство сохранило почти всю свою власть. Если положительные знания имеют столь слабое влияние на верования людей, то едва ли они будут способны оказать большее влияние на воззрения ангелов; пропаганда путем знания — средство самое ненадежное.

Аркадий воскликнул:

— Как! Вы отрицаете, что наука нанесла церкви смертельные удары? Возможно ли это? Церковь судит об этом иначе. Она боится науки, которую вы считаете бессильной, ибо она изгоняет эту науку. Она осуждает ее проявления, начиная от диалогов Галилея и кончая тощими учебниками господина Олара. И не без основания. некогда, объединяя все, что только было великого в человеческой мысли, церковь управляла телами так же, как и душами, и насаждала огнем и железом единство повиновения. В настоящее время от ее власти осталась только тень, и избранные умы от нее отвернулись. Вот состояние, в которое привела ее наука.

— Возможно, — ответила прекрасная архангелша. — Но как медленно все это делалось, с какими перерывами, ценою скольких усилий и жертв!

Зита не окончательно отрицала научную пропаганду; однако она не ждала от нее быстрых и верных результатов. По ее мнению, надо было не просвещать ангелов, а освободить их. Она утверждала, что оказать могущественное воздействие на любое существо можно, лишь возбудив его страсти и доказав, что это ему выгодно.

— Убедить ангелов в том, что они покроют себя славой, низвергнув тирана, и будут счастливы, когда станут свободными, — вот самый верный способ действия. С своей стороны, я делаю для этого все, что в моей власти. Разумеется, это не легко, так как царство небесное — военная автократия и там не существует общественного мнения. Несмотря на это, я не отчаиваюсь в возможности создать там некоторое идейное движение. Не хвалясь, могу сказать, что никто лучше меня не знает различных классов ангельского общества.

Зита, отбросив папиросу, с минуту подумала; затем, под стук шаров из слоновой кости, которые сталкивались на бильярде, под звон стаканов, под отрывистые голоса игроков, выкрикивающих свои очки, и монотонные ответы официантов на требования посетителей, архангелша перечислила все население небес.

— На Могущества, Силы и Власти рассчитывать не приходится: они составляют небесную мелкую буржуазию. Мне незачем говорить об этом: вам так же хорошо, как и мне, известны эгоизм, низость и трусость среднего класса. Что же касается высших сановников, министров, генералов,— Престолов, Херувимов и Серафимов,— вы их знаете: они предоставят все своему течению. Одолеем мы — они будут с нами. Ибо, если самодержцев и не легко свергнуть, то, когда это сделано, все их силы обращаются против них же. Было бы недурно обработать армию. Как ни верна она, ее можно разложить умелой анархической пропагандой. Но величайшие и наиболее упорные усилия должны быть направлены на ангелов вашей категории, Аркадий, на ангелов-хранителей, которых столь большое число живет на земле. Они занимают низшие ступени иерархической лестницы, по большей части недовольны своей участью и более или менее проникнуты современными идеями.

Она уже завязала сношения с ангелами-хранителями кварталов Монматра, Клиньянкура и Филль-дю-Кальвер. Она задумала план создания обширной ассоциации небесных духов на земле в целях завоевания неба.

— Чтобы выполнить эту задачу,— сказала она,— я поселилась во Франции. Не потому, чтобы я имела глупость считать себя более свободной в республике, чем в монархическом обществе. Наоборот, нет страны, где бы менее уважалась личная свобода, чем во Франции. Но народ здесь равнодушен к делам религии; поэтому я нигде не чувствовала бы себя так спокойно.

Она предложила Аркадию работать сообща, и они расстались у порога пивной, когда железный занавес ворча спускался над витриной.

— Прежде всего,— сказала Зита,— вам необходимо познакомиться с садовником Нектарием. Как-нибудь я сведу вас к нему в его деревенский дом.

Теофиль, дремавший в течение их разговора, стал умолять друга зайти к нему выкурить папироску. Он жил совсем близко, на углу небольшой улицы Стейнкерк, спускающейся тут же к бульвару; Аркадий увидит Бушотту; она понравится ему.

Они поднялись на пятый этаж. Бушотта еще не возвращалась. На рояле стояла открытая коробка с сардинками. Красные чулки змеились по креслам.

— Здесь тесновато, но уютно,— сказал Теофиль.

И, взглянув в окно на рыжеватый сумрак, испещренный огнями, добавил:

— Отсюда видно Сакре-Кёр.

Положив руку на плечо Аркадия, он повторил несколько раз:

— Я рад видеть тебя.

Потом он увлек бывшего товарища по райскому блаженству в коридор возле кухни, отставил подсвечник, вынул из кармана ключ, открыл стеной шкаф и, приподняв занавеску, показал два больших белых крыла.

— Видишь,— сказал он,— я сохранил их. Время от времени, когда я один, я прихожу поглядеть на них, и мне становится легче.

И он вытер покрасневшие глаза.

После нескольких минут прочувствованного молчания, приблизив свечку к длинным перьям, с которых местами сошел пушок, он прошептал:

— Их ест моль.

— Надо посыпать перцем,— сказал Аркадий.

— Я посыпал,— ответил со вздохом ангел-музыкант.— Я сыпал и перец, и камфару, и соль. Ничто не помогает.

Глава XIV,

в которой появляется керуб, трудящийся на благо человечества, и которая неслышанным образом заканчивается чудом с флейтой

В первую ночь своего воплощения Аркадий отправился ночевать на чердак к ангелу Истару, на узкую и темную улицу Мазарини, прозябающую под сенью старого Института Франции. Истар, поджидавший его, сдвинул к стене разбитые реторты, треснувшие кастрюли, осколки бутылок, обломки горнов, составлявшие обстановку комнаты, и набросал на пол всевозможное тряпье, дабы улечься самому на нем, предоставив гостю складную кровать с соломенным матрасом.

Небесные духи различны по внешности, в зависимости от чинов и степеней, к которым они принадлежат, и от своей собственной

природы. Все они прекрасны, но по-разному, и далеко не все радуют взор мягкими округлостями и веселыми ямочками детского тельца, на котором играют перламутровые и розовые отблески. Но все они одарены вечной юностью и той двойственной красотой, которой греческое искусство эпохи упадка запечатлело свои изысканнейшие мраморные статуи и образ которой, завуалированный и нежный, столько раз робко передавала христианская живопись. У некоторых из них подбородки покрыты густой растительностью, а мускулы на теле так крепки, что кажется, будто у них под кожей сплетаются в клубки змеи; у одних вовсе нет крыльев, у других — два крыла, или четыре, или шесть; иные состоят исключительно из соединенных крыльев; многих, и не самых безвестных, можно уподобить великолепным чудовищам в роде мифических кентавров; есть даже такие, которые кажутся живыми колесницами или огненными колесами. Истар, стоявший на высшей ступени небесной иерархии, принадлежал к степени херувимов, или керубов, выше которых — одни только серафимы. Как все духи этого разряда, некогда на небесах он был облечен телом крылатого быка, увенчанным головою бородатого и рогатого человека и снабженным у чресел признаками щедрой плодовитости. Более огромный и более могучий, чем любое земное животное, он покрывал тенью раскрытых крыл шестьдесят архангелов. Таков был Истар у себя на родине: там он сиял мощью и кротостью. Сердце его было бесстрашно, а душа милосердна. Еще недавно он любил своего повелителя, считая его добрым, и служил ему верой и правдой. Но, охраняя порог господина, он беспрестанно думал о каре, постигшей восставших ангелов, и о проклятии Евы. Его мысль была неповоротливой и глубокой. Когда, после долгой чреды веков, он убедился, что Иалдаваоф, породив мир, породил также зло и смерть, он перестал поклоняться и служить ему. Его любовь превратилась в ненависть, а почитание — в презрение. Он крикнул ему в лицо свое проклятие и бежал на землю.

Приняв образ человеческий и размеры сынов Адама, он еще сохранял некоторые черты своей первоначальной природы. Большие глаза на выкате, горбатый нос, толстые губы, обрамленные черными усами, и борода, локонами ниспадающая на грудь, — все это напоминало керубов, которые изображены на скинии Иагве и о которых довольно верное представление дают вавилонские крылатые быки. На земле, как и на небе, он назывался Истаром, и хотя он

был лишен всякого тщеславия и свободен от сословных предрассудков, однако, испытывая непреодолимую потребность быть всегда и во всем искренним и правдивым, он заявлял о знатном положении в небесной иерархии, принадлежавшем ему по праву рождения, тем, что переводил на французский язык небесный титул керуба соответственным же титулом, называя себя князем Истаром. Живя среди людей, он воспыал к ним горячей нежностью. В ожидании часа, когда можно будет освободить небеса, он обдумывал спасение обновленного человечества и стремился завершить разрушение этого несовершенного мира, дабы под звуки лир воздвигнуть на его пещле сияющий град любви и радости. Будучи химиком на жалованье у торговца удобрениями, он жил очень скромно, сотрудничал в революционных газетах, выступал на публичных собраниях и однажды был присужден к нескольким месяцам тюремного заключения за антимилиитаризм.

Истар сердечно встретил своего брата Аркадия, одобрил его разрыв с партией зла и известил о том, что около пятидесяти сынов неба спустились на землю и образовали неподалеку от Валь-де-Грас делую колонию, проникнутую самым лучшим духом.

— Ангелы прямо дождем сыплются на Париж,— сказал он со смехом.— Что ни день — какой-нибудь сановник из священного дворца падает нам на голову, и скоро у султана облаков в качестве визирей и стражей останутся только голозадые птенчики с его голубятни.

Убаюканный этими добрыми вестями, Аркадий заснул полный радости и надежд.

Он пробудился на рассвете и увидел князя Истара, склонившегося над горнами, ретортами и баллонами. Князь Истар трудился на благо человечества.

Каждое утро, просыпаясь, Аркадий видел, как князь Истар выполнял свое дело нежности и любви: керуб то тихо шептал какие-то химические формулы, скорчившись и охватив голову руками, то, стоя во весь рост, как темный облачный столб, высунув голову, руки и всю верхнюю часть тела за окно, он выставлял на крышу котел со сплавом из боязни обыска, который угрожал ему постоянно. Движимый великой жалостью к страданиям этого мира, куда он был изгнан, и чувствительный, быть может, к шуму, который создавался вокруг его имени, оьяненный собственной добродетелью, он стал апостолом человечества и, пренебрегая задачей, которую поставил

себе, когда пал на землю, не помышлял больше об освобождении ангелов. Аркадий, наоборот, думавший только о победоносном возвращении на завоеванное небо, упрекал керуба за то, что тот забыл о родине. Князь Истар с резким и наивным хохотом признавался, что он, пожалуй, не променяет людей на ангелов.

— Если я стараюсь,— говорил он своему небесному брату,— возмутить Францию и Европу, то потому, что близится день торжества социальной революции. Приятно засеять хорошо вспаханную почву. Французы, перешедшие от феодализма к монархии и от монархии к финансовой олигархии, легко перейдут и от финансовой олигархии к анархии.

— Какое заблуждение,— возражал Аркадий,— верить во внезапные и великие перемены социального порядка в Европе. Старое общество еще молодо своею силою и могуществом. Средства защиты, которыми оно располагает, колоссальны. Пролетариат, наоборот, едва намечает свою оборонительную организацию и проявляет в борьбе лишь слабость и нерешительность. У нас, на небесной родине, дело обстоит иначе: под непоколебимой внешностью все прогнило; довольно двинуть плечом, чтобы опрокинуть здание, которое оставалось нетронутым миллиарды веков. Старая администрация, старая армия, старые финансы — все это изъедено червями более, чем русское или персидское самодержавие.

И учтивый Аркадий уговаривал керуба лететь прежде всего на помощь к своим братьям, более несчастным, несмотря на облака, звон кифар и кубки райского вина, чем люди, склонившиеся над скупой землей; ибо люди уже имеют понятие о правде, ангелы уже блаженствуют в несправедливости. Он заклинал его освободить Князя Света и его поверженных сотоварищей и восстановить их в былых почестях.

Истар поддавался этим уговорам. Он обещал отдать на служение небесной революции убедительную кротость своих речей и превосходные формулы своих взрывчатых веществ. Он обещал.

— Завтра,— говорил он.

А на завтра он продолжал свою антимилитаристическую пропаганду в Исси-ле-Мулино. Подобно титану Прометею, Истар любил людей.

Аркадий, испытывая все те потребности, которым подчинено племя Адамово, не имел средств для их удовлетворения. Керуб

устроил его в типографию на улице Вожирар, где у него был знакомый метраншаж. И Аркадий, благодаря своему небесному уму, быстро научился набирать буквы и в скором времени стал отличным наборщиком.

Цельными днями он простаивал в шумной типографии с верстаткой в левой руке и быстро извлекал из кассы маленькие свинцовые литеры в порядке, предусмотренном оригиналом, прикрепленным к тенаклю, а затем мыл руки под краном и обедал в кабачке, развернув перед собой на мраморном столике газету.

Перестав быть невидимым, он уже не мог проникать в библиотеку д'Эпарвье и утолять из этого неиссякаемого источника свою жгучую жажду знания. По вечерам он ходил читать в библиотеку святой Женевиевы, на холме, славившемся просвещением; но он получил там лишь обыденные книги, засаленные, покрытые нелепыми пометками и с вырванными страницами.

Вид женщин приводил его в волнение, ему вспоминалась г-жа дез-Обель и ее гладкие колени, блестящие на смятой постели. Хотя он был красив, его не дарили любовью, так как он был беден и носил рабочее платье. Он бывал у Зиты и не без удовольствия прогуливался с ней по воскресным дням по пыльным дорогам, идущим вдоль канав и укреплений, поросших сочной травой. Вдвоем они проходили мимо кабачков, огородов, беседок, излагая и обсуждая самые широкие планы, которые когда-либо строились на земле, и подчас возле ярмарочных балаганов оркестр карусели служил аккомпанементом их словам, которые угрожали небу.

Зита часто повторяла:

— Истар честен, но он — младенец. Он верит в доброту существ и вещей. Он затевает разрушение старого мира и перекладывает на самопроизвольную анархию заботу о создании порядка и гармонии. Вы же, Аркадий, вы верите в науку; вы воображаете, будто люди и ангелы способны разуметь, тогда как они могут только чувствовать. Знайте же: вы ничего не добьетесь, обращаясь к их разуму; вызывайте лишь к их выгоде и страстям.

Аркадий, Истар, Зита и еще три-четыре ангела-заговорщика встречались иногда на квартирке Теофиля Беле, где Бушотта поила их чаем. Не зная, что это восставшие ангелы, она инстинктивно боялась и ненавидела их вследствие своего христианского воспитания, хотя и достаточно небрежного. Ей нравился только князь

Истар; она находила в нем добродушие и природное благородство. Под ним трещал диван, ломались кресла, а для своих заметок он отрывал уголки от страниц партитур, засовывая их себе в карманы, всегда набитые брошюрами и бутылками. Музыкант с грустью взирал на свою рукопись оперетты „Алина, королева Голконды“, ободранную таким образом. Князь имел также обыкновение отдавать на хранение Теофилю Беле разного рода механические приборы и химические вещества, железный лом, начинку для бомб, порошки, жидкости, которые распространяли отвратительный запах. Теофиль Беле осторожно прятал все это в шкаф, где хранились его крылья, и этот склад доставлял ему немалое беспокойство.

Аркадий тяжело страдал от презрения собратьев, оставшихся верными. Когда они встречались с ним в святых своих странствиях, то мимоходом проявляли к нему жестокую ненависть или жалость, еще более жестокую, чем ненависть.

Он посещал возмущившихся ангелов, которых указывал ему князь Истар, и большей частью встречал хороший прием. Но когда он начинал говорить о завоевании неба, они не скрывали неудовольствия и смущения, которые он им причинял. Аркадий замечал, что они не хотят нарушать свои вкусы, занятия и привычки. Ложность их суждений и узость их мышления возмущали его, а соперничество и зависть, которую они проявляли друг к другу, отнимали у него всякую надежду на возможность объединить их в общем деле. Наблюдая, как изгнание уродует характеры и искажает умы, он чувствовал, что бодрость покидает его.

Однажды вечером, когда он признался в своем разочаровании Зите, прекрасная архангелша сказала:

— Пойдемте к Нектарию; Нектарий знает тайну исцелять печаль и усталость.

Она повела его в лес Монморанси и остановилась на пороге белого домика, примыкавшего к опустошенному стужей огороду, где в вечернем сумраке блестели стекла теплиц и треснувшие колокола для дынь.

Нектарий отворил дверь посетителям и, успокоив неистово лающего дога, который охранял сад, провел их в низкую комнату, где топилась изразцовая печь. У выбеленной стены, на сосновой полке, среди луковиц и семян, в полной готовности лежала флейта. На круглом ореховом столе находился горшок из песчаника с табаком,

трубка, бутылка вина и стаканы. Садовник предложил гостям плетеные стулья, а сам уселся на скамеечку подле стола.

Это был крепкий старик; густая седая грива покрывала его голову; у него был выпуклый лоб, приплюснутый нос, красное лицо и раздвоенная борода. Огромный дог улегся у ног хозяина, положил на лапы короткую черную морду и закрыл глаза. Садовник налил гостям вина. После того как они выпили и обменялись несколькими словами, Зита сказала Нектарию:

— Я попрошу вас сыграть на флейте. Вы доставите удовольствие моему другу, которого я к вам привела.

Старик тотчас же согласился. Он поднес к губам свирель из буксового дерева, такую грубую, словно она была выточена самим садовником, и начал несколькими необычными музыкальными фразами. Затем полились чудные мелодии, на фоне которых сверкали трели, как сверкают жемчуга и бриллианты на бархате. Оживленная творческим дыханием деревенская свирель звучала, как серебряная флейта. Она не производила слишком резких звуков; тембр ее был всегда ровен и чист. Казалось, что одновременно пели соловей и музы, вся природа и все человечество. И старик высказывал, располагал, развивал свои мысли в музыкальной речи, полной красоты и дерзновения. Он говорил о любви, о боязни, о тщетных распрях, о всепобеждающем смехе, о ясном свете познания, о стрелах разума, поражающих своими золотыми остриями чудищ Невежества и Ненависти. Он говорил о Радости и Страдании — о двух близнецах, склонивших над землей свои головы, и о Желании, творящем миры.

Всю ночь напролет звучала флейта Нектария. Пастушеская звезда уже всходила над побледневшим горизонтом. Зита схватила руки колени; Аркадий подпер лоб рукой и полураскрыл губы; оба слушали, боясь шелохнуться. Жаворонок, проснувшийся на соседнем песчаном поле и привлеченный неслыханными дотоле звуками, стремительно взвился в воздух, застыл там на несколько мгновений и затем камнем упал в сад музыканта. Окрестные воробьи, покинув выбоины старых стен, стаями опустились на крайнюю окантовку окна, откуда летели звуки, привлекавшие их больше, чем зерна овса и ячменя. Сойка, в первый раз вылетевшая из леса, сложила сапфировые крылья на оголенном вишневом дереве в саду. Перед отдушиной большая черная крыса, с которой струилась сальная вода сточных

канав, присев на задние лапы, поднимала в изумлении коротенькие передние лапы с растопыренными пальцами. Подле нее поместилась полевая мышь, жительница огорода. Спустившись с крыши, домашний кот, унаследовавший от своих диких предков серый мех, гибкий хвост, могучие лапы, храбрость и гордость, толкнул мордочкой полураскрытую дверь, неслышно приблизился к флейтисту и, важно усевшись, насторожил изодранные в ночных драках уши. Белая кошка бакалейщика последовала за ним, потянула в себя звенящий воздух, потом, изогнув дугой спину и зажмурив голубые глаза, стала в восхищении слушать. Мыши, прибежав из подполья, толпой окружили их и, не боясь ни когтей, ни зубов, застыв в наслаждении, сложили на груди розовые лапки. Зачарованные пауки, забыв о паутинах, трепеща лапками, массой собрались на потолке. Маленькая серая ящерица, скользнув на порог, замерла; а на чердаке летучая мышь, зацепившаяся когтем и повисшая вниз головой, теперь, наполовину пробужденная от зимней спячки, тихо покачивалась в такт неслышанной флейте.



Глава XV,

где мы видим, что молодой Морис даже в объятиях своей возлюбленной скорбит об утрате ангела-хранителя, и где аббат Патуль отвергает мысль о новом восстании ангелов как ложную и суетную

Это произошло через две недели после того, как ангел появился на холостой квартире Мориса. Впервые Жильберта явилась на свидание раньше возлюбленного. Морис был мрачен. Жильберта угрюма.

Природа вновь стала для них печальной и однообразной. Взгляды, которыми они вяло обменивались, постоянно обращались к тому углу между окном и зеркальным шкафом, где некогда возникло бледное обличье Аркадия и где теперь не было ничего, кроме голубого кретона обивки.

Не называя имени (в этом не было надобности), г-жа дез-Обель спросила:

— Ты больше не встречал его?

Медленно, печально Морис покачал головой справа налево и слева направо.

— Можно подумать, что ты о нем жалеешь,— продолжала г-жа дез-Обель.— Признайся все же: он тебя ужасно напугал, и ты был возмущен его бестактностью.

— Это правда, он поступил бестактно,— сказал Морис без всякого злопамятства.

Сидя посреди кровати, полураздетая, опершись подбородком о колени и охватив ноги руками, она посмотрела на любовника с острым любопытством.

— Послушай, Морис, когда ты видишь меня одну, это уже ничего тебе не говорит... Нужен ангел, чтобы тебя вдохновить. Это печально в твои годы...

Морис, казалось, не слышал. Он с серьезным видом спросил:

— Жильберга, ощущаешь ли ты присутствие своего ангела-хранителя?

— Я? Ничуть. Я никогда и не думала о своем ангеле. И все же я верующая. Во-первых, неверующие это все равно, что животные. И потом, без религии нельзя быть порядочным человеком; это невозможно.

— Да, это так и есть,— сказал Морис, устремив взор на лиловые полосы своей пижамы без цветочков.— Когда ангел-хранитель с тобой, о нем даже и не думаешь. А когда его нет, чувствуешь себя одиноким.

— Значит, ты жалеешь об этом...

— Я хочу сказать, что...

— Ну да, ну да, ты о нем жалеешь... Так знай же, мой дорогой, такой ангел-хранитель — не велика потеря. О нет, он недорого стоит, твой Аркадий. В тот знаменитый день, когда ты покупал ему отрепья, он без конца застегивал мне платье, и я очень

ясно почувствовала, как его рука... Словом, не слишком доверяй ему.

Морис закурил папиросу и задумался. Они поговорили о шестидневных велосипедных гонках на зимнем велодроме и об авиационной выставке Брюссельского автомобильного клуба, безо всякого, впрочем, увлечения. Тогда они прибегли к любви, как к самому легкому развлечению, и им удалось в достаточной мере забыться, но в тот самый момент, когда ей следовало проявить наибольшее соучастие и сильнее всего выразить ответное чувство, Жильберта, неожиданно привскочив, воскликнула:

— Боже мой! Как глупо было с твоей стороны, Морис, сказать мне, что мой ангел-хранитель меня видит. Ты представить себе не можешь, как эта мысль меня стесняет.

Морис в раздражении довольно грубым образом призвал свою возлюбленную к спокойствию. Но она заявила, что у нее тоже есть принципы, которые не позволяют ей согласиться на любовь вчетвером, с участием ангелов.

Морис стремился вновь увидеться с Аркадием и не думал ни о чем другом. Он горько упрекал себя за то, что, расставаясь с ним, потерял его из виду, и день и ночь измышлял способ его разыскать.

На всякий случай он поместил в отделе частных извещений одной из больших газет следующее объявление: „Морис — Аркадию. Вернитесь“. Но дни проходили, а Аркадий не возвращался.

Однажды утром, в семь часов, Морис отправился в дерковь святого Сульпиция к обедне, которую служил г-н аббат Патуль; затем, когда священник выходил из ризницы, он подошел к нему и попросил уделить ему минутку. Они спустились вместе со ступеней паперти и стали прогуливаться под ясным небом вокруг фонтана Четырех Епископов. Несмотря на смущенную совесть и трудность передать столь необыкновенный случай так, чтобы он не казался невероятным, Морис рассказал, как его ангел-хранитель, явившись ему, сообщил о своем прискорбном решении расстаться с ним, дабы подготовить новое восстание гордых духов. И молодой д'Эпарвье спросил у почтенного священника, каким способом можно было бы вернуть небесного покровителя, отсутствие которого стало ему невыносимым, и вновь обратиться ангела к христианской вере. Г-н аббат Патуль с ласковой грустью в голосе ответил, что все это приснилось его дорогому мальчику, что это бред расстроенного воображения,

принятый им за действительность, что нельзя и думать, будто добрые ангелы способны восстать.

— Люди полагают,— прибавил он,— что можно безнаказанно вести разгульную и беспорядочную жизнь. Это большая ошибка. Злоупотребление наслаждениями подтачивает разум и мутит рассудок. Дьявол овладевает чувствами грешника, чтобы проникнуть в глубь его души. Это он, Морис, ввел вас в обман, весьма грубыми приемами.



Морис, однако, утверждал, что вовсе не был жертвой галлюцинации, что он не грезил, а собственными глазами видел, собственными ушами слышал своего ангела-хранителя. Он продолжал настаивать:

— Господин аббат, одна дама, которая тогда находилась со мной и имени которой называть не стоит, точно так же видела и слышала его. Кроме того она чувствовала пальцы ангела, когда они... когда они блуждали под... Словом, она их чувствовала. По-

верьте мне, господин аббат, нет ничего истинного, более реального, более достоверного, чем это явление. Ангел был белокурый, молодой, очень красивый. В сумраке его белая кожа казалась залитой молочным светом. Он говорил нежным и чистым голосом.

Аббат с живостью перебил его:

— Одно уже это, сын мой, доказывает, что вам все привиделось. Все демонологии сходятся на том, что у злых ангелов голос хриплый и скрипучий, как ржавый замок; и даже если им удастся придать своему лицу некое подобие красоты, они все же не умеют подражать ясному голосу чистых духов. Факт этот, многократно засвидетельствованный, совершенно достоверен.

— Но, господин аббат, ведь я же его видел; он, совсем голый, уселся в кресло на пару черных чулок. Чего вам еще нужно.

Но и это показание не поколебало аббата Патуля.

— Повторяю вам, дитя мое, нужно отнести за счет печального состояния вашей совести эти зловещие иллюзии, эти грезы глубоко смятенной души. И, мне кажется, я знаю то случайное обстоятельство, которое дало последний толчок вашему колеблющемуся духу. Этой зимой вы в дурном настроении посетили вместе с господином Сарьеттом и вашим дядей Гаэтаном придел Ангелов, который как раз ремонтировался. Как я и говорил тогда, художников надо неустанно призывать к следованию правилам христианского искусства; надо без конца внушать им уважение к священному писанию и его признанным истолкователям. Господин Эжен Делакруа не подчинил свой пылкий гений традиции. Он творил по своему разумению, живопись его в этом приделе, как принято выражаться, отдает серой, а композиции,—нейстовые, жуткие,—вместо того, чтобы вызывать в душе мир, созерцательность, покой, повергают ее в своего рода смятение, полное ужаса. Ангелы изображены там с сердитыми лицами; черты их угрюмы и мрачны. Можно подумать, что это — Люцифер и его соратники, замышляющие восстание. Так вот, именно эти изображения, дитя мое, подействовав на ваш дух, без того уже слабый и расшатанный всякого рода распущенностью, внесли в него ту тревогу, которую он одержим сейчас.

Морис стал горячо возражать:

— О нет, господин аббат, нет, нет, не думайте, что меня смутила живопись Эжена Делакруа. Я на нее даже не смотрел. К этому роду искусства я совершенно равнодушен.

— Послушайте, сын мой, верьте мне. В том, что вы рассказали, нет ничего истинного, ничего реального. Ваш ангел-хранитель и не думал вам являться.

— Но, господин аббат,— продолжал Морис, который вполне доверял свидетельству внешних чувств.— Я видел, как он зашнуровывал ботинки даме и натягивал на себя штаны самоубийцы...

И, шагая по асфальту, Морис заверял в правдивости своих слов — небо, землю, всю природу, башни святого Сульпиция, стены большой семинарии, фонтан Четырех Епископов, уличную уборную, стоянку извозчиков, таксомоторов и автобусов, деревья, прохожих, собак, воробьев, цветочницу и ее цветы.

Аббат торопился окончить разговор:

— Все это — заблуждение, обман и навождение, сын мой. Вы христианин; думайте же, как подобает христианину. Христианин не позволяет пустой видимости вводить себя в соблазн. От соблазнов чудесного его охраняет вера; легкое верие он предоставляет вольнодумцам. Нет такого вздора, в котором нельзя было бы их уверить. Но у христианина есть оружие, которое рассеивает дьявольские навождения,— крестное знамение. Успокойтесь, Морис, вы не потеряли своего ангела-хранителя. Он попрежнему бдит над вами. От вас зависит, чтобы эта задача не была для него слишком трудной и тяжелой. До свидания, Морис. Погода переменится, так как я чувствую острую боль в большом пальце ноги.

И г-н аббат Патуль удалился с молитвенником подмышкой, прихрамывая с достоинством, которое предвещало в нем будущего епископа.

В тот же день, прислонясь к парапету монмартрской лестницы, Аркадий и Зита созерцали дым и туман, поднимающиеся над огромным городом.

— Может ли постигнуть разум,— сказал Аркадий,— сколько горя и страданий заключено в большом городе? Мне кажется, что если бы кто-нибудь мог себе представить, то это видение обуяло бы его таким ужасом, что он пал бы, как сраженный молнией.

— И однако,— сказала Зита,— все, что дышит в этой геенне, любит жизнь. В этом есть великая тайна.

— Они несчастны, пока существуют, но перестать существовать— для них ужасно; они не ищут утешения в смерти; не ждут от нее даже отдыха. В своем безумии они боятся самого небытия: они

заселили его призраками. А посмотрите на эти фронтоны, колокольни, купола и шпили, пронизывающие туман, и сверкающие кресты на них. Люди поклоняются демиургу, который дал им жизнь хуже смерти и смерть хуже жизни.

Зита долго молчала, задумавшись, и, наконец, сказала:

— Я должна, Аркадий, сделать вам признание. Не жажда более справедливого правосудия или более мудрого закона повергла Итуриила на землю. Честолюбие, склонность к интригам, любовь к богатству и почестям делали для меня невыносимым небесный покой, и я горела желанием смешаться с беспокойным человеческим родом. Я сошла на землю и, силой искусства, неизвестною почти никому другому из ангелов, сумела создать себе тело, которое, меняя по моему желанию возраст и пол, дало мне возможность испытать самые различные и самые удивительные судьбы. Сотни раз занимала я высокие места среди владык на час, королей золота и властителей народов. Я не открою вам, Аркадий, славные имена, которые я носила; знайте только, что я царила в области наук, искусств, власти, богатства и красоты среди всех наций мира. Наконец, несколько лет тому назад, путешествуя по Франции под видом знаменитой иностранки, я блуждала как-то вечером в лесу Монморанси и услышала флейту, которая пела о печали небес. Ее чистый и тоскующий голос истерзал мне душу. Никогда еще не слышала я ничего столь прекрасного. Глаза мои были полны слез, грудь теснили рыдания; я приблизилась и увидела на краю поляны старика, подобного фавну, который играл на деревенской свирели. То был Нектарий. Я бросилась к его ногам, покрывла поцелуями ему руки, божественные уста и убежала...

С того времени, почувствовав всю пустоту людского величия, устав от шумного ничтожества земных дел, стыдясь своей огромной и пустой работы и наметив более возвышенную цель для честолюбия, я подняла взоры к своей высокой родине и дала обет возвратиться туда освободительницей. Я отринула высокое звание, имя, состояние, друзей, толпу льстецов и, превратившись в безвестную Зиту, стала работать в бедности и одиночестве над освобождением небес.

— Я тоже,— сказал Аркадий,— слышал флейту Нектария. Но кто же он, этот старый садовник, извлекающий из грубой деревянной свирели такие трогательные и прекрасные звуки?

— Вы это скоро узнаете,— ответила Зита.

Глава XVI,

где по очереди выводятся на сцену ясновидящая Мира, Зефирина и роковой Амедей и где на устрашающем примере г-на Сарьетта доказываетя мысль Еврипида, что Юпитер отнимает разум у тех, кого он хочет погубить

Разочарованный тем, что не смог пролить новый свет в веру духовного лица, известного своей мудростью, и обманутый в надежде найти своего ангела правоверным путем, Морис задумал прибегнуть к оккультным наукам и решил отправиться к ясновидящей. Он, без сомнения, направился бы к г-же де-Теб; но он уже спросил ее однажды, в пору своих первых любовных страданий, и она ответила ему так разумно, что он перестал считать ее колдуньей. Он обратился за помощью к мудрости одной модной сомнамбулы, мадам Мира.

Ему приводили много примеров необычайной прозорливости этой ясновидящей; все же было необходимо представить мадам Мира какой-нибудь предмет, который носил на себе или к которому прикасался отсутствующий, дабы направить сюда ее прозревающие взоры. Морис, перебирая в уме предметы, к которым прикасался ангел со времени своего злополучного воплощения, вспомнил, что в своей райской нагоде он сидел в кресле на черных чулках г-жи дез-Обель и что затем он помогал ей одеваться. Морис попросил у Жильберты один из этих талисманов, потребных ясновидящей. Но Жильберта уже не могла отыскать ничего, разве что сама она сошла бы за такой подобный талисман. Ибо ангел держал себя по отношению к ней крайне нескромно и был столь проворен, что не представлялось никакой возможности помешать его предприимчивости. Выслушав это признание, которое, впрочем, не содержало для него ничего нового, Морис обрушился на ангела, обозвал его именами самых гнусных животных и поклялся познакомить его зад со своим сапогом, если тот когда-нибудь очутится на подходящем расстоянии от его ноги. Но вскоре его ярость обратилась против г-жи дез-Обель: он обвинял ее в том, что она сама вызвала наглость, о которой теперь рассказывала, и в гневе наделил ее всеми зоологическими символами бесстыдства и разврата. В сердце у него вновь

вспыхнула любовь к Аркадию, еще более пламенная и чистая, чем прежде, и покинутый юноша, простерши руки и склонив колени, стал взывать к своему ангелу со слезами и рыданиями.

В эти бессонные ночи Морис подумал о том, что книги, которые ангел листал до своего появления, могли бы послужить талисманом. Поэтому однажды утром он поднялся в библиотеку и поздоровался с г-ном Сарьеттом, который составлял свой каталог под романтическим взором Александра д'Эпарвье. Г-н Сарьетт, смертельно бледный, улыбался. Теперь, когда невидимая рука не переворачивала больше книг, находящихся у него на хранении, когда все в библиотеке вновь обрело порядок и покой, г-н Сарьетт был счастлив, но с каждым днем терял силы; от него осталась только легкая, умиротворенная тень.

От прошлых горестей и в счастье умирают.

— Помните ли вы, господин Сарьетт,— сказал Морис,— то время, когда ваши книги еженощно переворачивались, перемещались, растаскивались, расшвыривались, перепутывались, трепались и в беспорядке исчезали, попадали даже в канаву на улице Палатин? Славное это было время! Покажите-ка мне, господин Сарьетт, те томы, которые больше всего трогали.

Слова эти повергли г-на Сарьетта в мрачное оцепенение, и Морису пришлось повторить их трижды, прежде чем старый библиотекарь понял и указал, наконец, на весьма старый иерусалимский талмуд, который часто бывал в неуловимых руках. Апокрифическое евангелие третьего века, состоящее из двадцати листов папируса, также не раз покидало свое место; переписку Гассенди тоже, повидимому, усиленно листали.

— Но,— прибавил г-н Сарьетт,— книга, которою таинственный посетитель пользовался чаще всего, это, без сомнения, томик „Лукреция“ в красном сафьяне, с гербом Филиппа Вандомского, великого приора Франции, и с собственноручными пометками Вольтера, который, как известно, в молодости посещал Тампль. Страшный читатель, причинивший мне столько хлопот, не мог расстаться с этим „Лукрецием“, сделав из него, если можно так выразиться, свою настольную книгу. У него был хороший вкус, так как это — драгоценность. Увы, это чудовище посадило на странице 137 чернильную кляксу, которую, возможно, не удастся вывести и самому искусному химику.

И г-н Сарьетт испустил глубокий вздох. Он пожалел, что сказал так много, когда молодой д'Эпарвье попросил дать ему драгоценного „Лукреция“. Ревнивый хранитель тщетно уверял, что книга находится у переплетчика и не может быть выдана. Морис дал понять, что на эту удочку его не поймать. Он решительно вторгся в зал Philosophes и Sphères и, усевшись в кресло, сказал:

— Я жду.

Г-н Сарьетт предложил другое издание латинского поэта. Есть, говорил он, издания с более верным текстом и поэтому более пригодные для занятий. Он предложил „Лукреция“ Барбу, „Лукреция“ Кутелье или, еще лучше, французский перевод. Можно было выбрать перевод барона де-Кутюра, слегка, может быть, устарелый, или перевод Лагранжа, перевод из серии Назара и Панкука, наконец, два особо изящных перевода, один в стихах, другой в прозе, оба принадлежащие г-ну де-Понжервиллю, члену французской Академии.

— Я не нуждаюсь в переводе,— гордо ответил Морис.— Дайте мне „Лукреция“ приора Вандомского.

Г-н Сарьетт медленно подошел к шкафу, где хранилась эта драгоценность. Ключи звенели в его дрожащей руке: он поднес их к замку, но тотчас же отдернул и предложил Морису самого обыденного „Лукреция“ из серии Гарнье.

— Он очень удобен для чтения,— сказал он с обворожительной улыбкой.

Но по молчанию, которым было встречено это предложение, он понял, что всякое сопротивление напрасно; он медленно вынул из шкафа книгу и, удостоверившись, что на скатерти нет ни пылинки, дрожа положил ее на стол перед правнуком Александра д'Эпарвье.

Морис принялся ее листать и, дойдя до страницы 137, углубился в созерцание кляксы величиной с горошину, сделанной лиловыми чернилами.

— Да, вот он,— сказал г-н Сарьетт, не спускавший с „Лукреция“ глаз,— вот след, который оставили на этой книге незримые чудовища.

— Как, господин Сарьетт, разве их было несколько?— воскликнул Морис.

— Не могу сказать. Но не знаю, имею ли я право уничтожить это пятно, которое, подобно той кляксе, которую Поль-Луи Курье

сделал на Флорентийской рукописи, является, если можно так выразиться, литературным документом.

Не успел старик произнести эти слова, как у входной двери раздался звонок и в соседней зале послышался громкий гул шагов и голосов. Сарьетт помчался на шум и столкнулся с сожительницей папаши Гинардона, старухой Зефириной, у которой волосы извивались, как гнездо гадюк, лицо пылало, грудь бурно вздымалась, живот походил на пуховое одеяло, вздутое порывом ужасной бури, а сама она задыхалась от горя и бешенства. И сквозь рыдания, вздохи, стоны и тысячи других звуков, которые, исходя из ее тела, казалось, соединяли в себе весь шум, поднимающийся на земле от возбуждения людей и сутолоки вещей, она кричала:

— Он ушел! Чудовище! Ушел с ней! Он переехал со всей своей рухлядью и оставил меня одну, с франком и семьюдесятью сантимами в кошельке...

И она стала долго и беспорядочно объяснять, что Мишель Гинардон бросил ее для Октавии, дочери разносчицы булок. Она извергла на изменника целый поток проклятий.

— Человек, который жил на мой счет пятьдесят лет, если не больше. Так как у меня водились и деньжонки, и хорошие знакомства, и все! Я выгнала его из нищеты, и вот как он меня отблагодарил! Хорош ваш приятель! Лежебока! Его нужно было одевать, как ребенка! Пьяница, презренное существо! Вы его еще не знаете, господин Сарьетт. Он фальсификатор. Он поддельвает Джотто, да, Джотто, и Фра-Анжелико, и Греко, без зазрения совести, господин Сарьетт, и сбывает их торговцам картинами, а также и Фрагонаров, и Бодуэнов!.. Развратник, не верящий в бога! А это хуже всего, господин Сарьетт, так как без страха божия...

Зефирина ругалась еще долго. Наконец г-н Сарьетт воспользовался тем, что она остановилась перевести дух, и принялся успокаивать и обнадеживать ее. Гинардон возвратится: так просто не забываются пятьдесят лет согласной и совместной жизни...

Эти ласковые речи возбудили новый прилив бешенства, и Зефирина поклялась, что никогда не забудет нанесенной обиды, что никогда больше не пустит к себе это чудовище. И если он даже на коленях будет молить о прощении, — пусть валяется у нее в ногах!

— Да разве вы не понимаете, господин Сарьетт, что я его презираю, ненавижу, что он мне противен?

Она раз шестьдесят высказала эти гордые чувства и раз шестьдесят клялась, что не пустит больше к себе Гинардона, что она видеть его не может, даже на портрете.

Г-н Сарьетт не возражал против решения, которое, после стольких уверений, считал непоколебимым. Он не порицал Зефирины, он даже одобрял ее. Раскрыв перед покинутой женщиной более чистые горизонты, он изобразил ей непрочность людских чувств, поддержал в ней готовность к отречению и посоветовал благочестиво покориться воле божьей.

— Если действительно,— сказал он ей,— ваш друг так мало достоин привязанности...

Ему не удалось кончить речь. Зефирина бросилась на него и, схватив за ворот сюртука, принялась бешено трясти.

— Мало достоин привязанности!— кричала она, задыхаясь.— Мой Мишель мало достоин привязанности!.. Найдите-ка, голубчик мой, другого любезнее, веселее, остроумнее, другого такого, как он, всегда юного, всегда... Мало достоин привязанности! Сразу видно, что вы ничего не смыслите в любви, старая крыса!

Пользуясь тем, что старик Сарьетт был, таким образом, сильно занят, молодой д'Эпарвье сунул томик „Луcreция“ себе в карман и непринужденно прошел мимо сотрясаемого библиотекаря, помахав ему на прощание ручкой.

Заручившись талисманом, он помчался на площадь Терн к мадам Мира, которая приняла его в красной с золотом гостиной, где не было ни совы, ни жабы, ни каких-либо иных атрибутов древней магии. У мадам Мира, уже немолодой, с напудренными волосами, одетой в платье цвета сливы, был весьма приличный вид. Она говорила изящно и уверяла, что узнает сокровенные вещи исключительно при помощи науки, философии и религии. Она пощупала сафьяновый переплет и, закрыв глаза, стала из-под опущенных век рассматривать латинское заглавие и герб, которые ей ничего не говорили. Привыкнув получать в качестве указаний кольца, носовые платки, письма, волосы, она не постигала, какого сорта человеку могла принадлежать эта странная книга. С обычной и машинальной ловкостью она прикрыла свое действительное недоумение напускным.

— Странно,— пробормотала она,— странно... Я не совсем хорошо различаю... Я вижу женщину...

Произнося это магическое слово, она украдкой наблюдала за

произведенным эффектом и прочла на лице своего клиента непредвиденное ею разочарование. Заметив, что идет по неправильному пути, она немедленно изменила свое откровение.

— Но эта женщина тотчас же исчезла... Странно... Странно... Я смутно различаю неясный образ... неопределимое существо.

И удостоверившись беглым взглядом, что на этот раз ее слова жадно ловят, она стала распространяться о двойственности существа, о тумане, который его окутывает.

Постепенно видение стало уточняться перед взором мадам Мира, которая шла по следу шаг за шагом.

— Большой бульвар... Площадь с памятником... пустынная улица, лестница. Он здесь, в голубоватой комнате... Это молодой человек... У него бледное и озабоченное лицо. Кажется, он жалеет о чем-то, чего не сделал бы вторично...

Но напряжение от гадания оказалось слишком большим. Усталость помешала ясновидящей продолжать потусторонние розыски. Она истощила последние силы, настойчиво убеждая обратившегося к ней за советом пребывать в теснейшем единении с богом, если он хочет вернуть то, что потерял, и преуспеть в своих стараниях.

Морис, уходя, оставил на камине лудор и удалился взволнованный, смятенный, в полном убеждении, что мадам Мира обладает сверхъестественными способностями, к сожалению, недостаточными.

Спустившись с лестницы, он вспомнил, что оставил томик „Лукреция“ на столе у пифии, и, решив, что старый маньяк не переживет потери своей книжонки, поднялся за нею наверх. Когда он возвратился в родительский дом, перед ним выросла измученная тень. Это старый Сарьетт голосом жалобным, как ноябрьский ветер, требовал обратно „Лукреция“. Морис небрежно вытащил его из кармана пальто.

— Не убивайтесь, господин Сарьетт, вот она, ваша штучка.

Библиотекарь унес, прижав к груди, вновь обретенную драгоценность и бережно положил ее на стол, покрытый синей скатертью, придумывая в то же время какой-нибудь надежный тайник для ревниво оберегаемого сокровища и перебирая в уме различные проекты, достойные усердного хранителя. Но кто из нас может похвастаться мудростью? Предвидение людей ограничено, и предусмотрительность их бывает постоянно обманута. Удары рока неотвратимы, и от судьбы не уйти. Нет такого совета, нет такой заботы, которые преодолели бы фатум.

О мы, несчастные! Слепая сила, руководящая светилами и атомами, образует мировой порядок из превратностей нашей жизни. Наши невзгоды служат гармонии миров. Этот день был днем переплетчика, которого круговорот времени приводил в дом дважды в год: под знаком Овна и под знаком Весов. В этот день с утра г-н Сарьетт заготавливал работу для переплетчика; он выкладывал на стол книги в обложках, недавно приобретенные и признанные достойными кожаного или картонного переплета, и те, одеяния которых требовали починки, заботливо составляя подробный их список. Ровно в пять старый Амедей — приказчик Леже-Массье, переплетчика с улицы Аббатства, являлся в библиотеку д'Эпарвье и после двойной проверки, произведенной г-ном Сарьеттом, складывал книги, предназначенные для хозяина, на кусок полотна, связывал его узлом и взваливал себе на плечо; потом прощался с библиотекарем такими словами:

— Добрый вечер, честная компания!

И спускался с лестницы.

И на этот раз все произошло, как обычно. Но Амедей, найдя на столе „Луcreция“, без всякого злого умысла сунул его в узел и унес вместе с другими книгами так, что г-н Сарьетт этого не заметил. Библиотекарь покинул залу Философов и Сфер, совершенно позабыв о книге, отсутствие которой днем доставило ему такое жестокое беспокойство. За это строгие судьи могут обвинить его в ослаблении рассудка. Но не лучше ли сказать, что так решила судьба и что сила, именуемая нами случаем, а в сущности являющаяся естественным порядком вещей, совершила это незаметное деяние, последствия которого, по мнению людей, ужасны. Г-н Сарьетт отправился обедать в молочный ресторанчик „Четырех Епископов“ и прочитал там газету „Крест“. Он был безмятежен и спокоен. Только на следующее утро, войдя в зал Сфер и Философов, он вспомнил о „Луcreции“ и, не видя его на столе, принялся искать всюду, не находя нигде. Ему не пришло в голову, что Амедей мог печально унести „Луcreция“. У него явилась мысль о возвращении невидимого посетителя, и он пришел в великое смятение.

Несчастный хранитель, заслышав какой-то шум на площадке лестницы, открыл дверь и увидел маленького Леона в кеши с галунами, который кричал: „Да здравствует Франция!“ — швыряя в воображаемых врагов тряпки, метелки и мастику, употребляемую Иппо-

литом, чтобы патирать полы. Для своих воинственных игр мальчик предпочитал эту площадку любому другому месту в доме и часто забирался даже в библиотеку. Г-н Сарьетт внезапно заподозрил ребенка в том, что это он взял томик „Лукреция“, чтобы сделать из него метательный снаряд, и потому угрожающим голосом потребовал его возвращения. Мальчик стал отрезаться, и г-н Сарьетт прибегнул к обещаниям:

— Леон, если ты принесешь мне красненькую книжку, я дам тебе шоколаду.

Ребенок задумался. А вечером, когда г-н Сарьетт спускался по лестнице, он встретил Леона, который сказал:

— Вот книга!

И, протягивая ему рваную книжку с картинками, „Историю Грибуля“, потребовал обещанный шоколад.

Через несколько дней после этого Морис получил по почте проспект сыскного агентства, которым руководил бывший служащий префектуры и которое обещало быстроту и полную тайну. Отправившись по указанному адресу, он нашел усатого человека, мрачного и озабоченного, который выпросил у него аванс и пообещал найти разыскиваемое лицо.

Вскоре бывший служащий префектуры написал ему, что начаты дорого стоящие поиски, и просил еще денег. Морис денег не дал и решил сам взяться за розыски. Соображая, не без некоторого вероятия, что ангел, поскольку нет денег, должен водиться с бедняками и изгнанниками всех национальностей, революционерами, как и он сам, Морис стал заглядывать во все меблированные комнаты кварталов Сент-Уана, Ла-Шапель, Монмартра, Итальянской заставы, в ночлежные дома, где спят вповалку, в кабачки, где угощают требухой или за три су подают блюдо смешанных остатков, в трущобы Центрального рынка и к папаше Моми.

Морис побывал в ресторанах, где столуются нигилисты и анархисты; он встречал там женщин, переодетых мужчинами, мужчин, переодетых женщинами, мрачных, диких юношей и улыбающихся, как малые дети, голубоглазых восьмидесятилетних старцев. Он наблюдал, расспрашивал, был принят за шпиона, получил удар ножом от какой-то очень красивой женщины, но на другой же день возобновил свои поиски по кабачкам, меблирашкам, публичным домам, игорным притонам, нищенским закоулкам, балаганам и хар-

чевьям, ютящимся вдоль городских укреплений, среди старьевщиков и апашей.

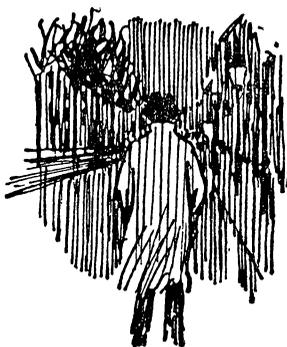
Видя, что Морис худеет, изводится, молчит, его мать забеспокоилась.

— Нужно его женить,— говорила она.— Жаль, что у мадемуазель де-ла-Вердельер такое неважное приданое.

Аббат Патуль не скрывал своего беспокойства.

— Наш мальчик,— говорил он,— переживает моральный кризис.

— Я думаю скорее,— отвечал г-н Рене д'Эпарвье,— что он попал под влияние дурной женщины. Следует подыскать ему занятие, которое поглощало бы его и льстило его самолюбию. Я мог бы устроить его секретарем комитета охраны сельских церквей или юрисконсультгом синдиката католических литейщиков.



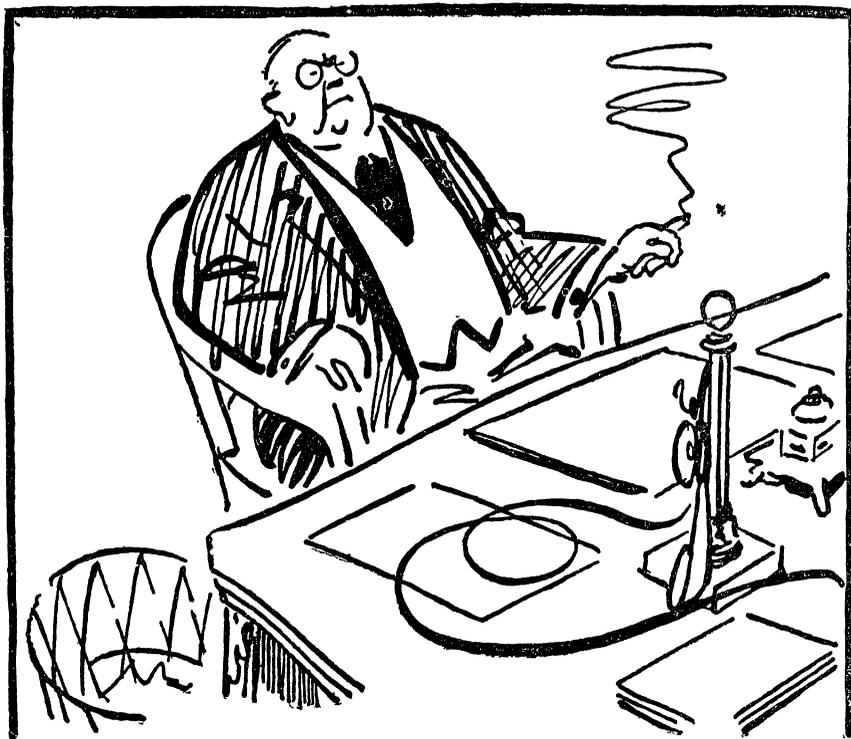
Глава XVII,

где говорится о том, что Софар, столь же жадный до золота, как сам Маммон, предпочел своей небесной родине Францию, благословенную землю Бережливости и Кредита, и где лишний раз доказывается, что имуций боится всяких перемен

Тем временем Аркадий вел жизнь незаметную и трудовую. Он работал в типографии на улице Сен-Бенуа и жил в мансарде на улице Муффетар. Так как его товарищи забастовали, он бросил

типографию и посвящал все свои дни пропаганде, которую вел столь удачно, что завербовал в партию восстания более пятидесяти тысяч ангелов-хранителей, которые, как и полагала Зита, были недовольны своим положением и прониклись современными идеями. Но ему недоставало денег и, следовательно, свободы действия; он не мог, как хотел бы, употреблять все свое время на просвещение сынов неба. Равным образом, и князь Истар, за отсутствием денег, выделял бомб меньше, чем было нужно, и худшего качества. Все же маленьких карманных снарядов он изготовил много. Он заполнил ими квартиру Теофиля и каждый день забывал их на диванах в кафе. Но бомба, изящная и удобная в обращении, способная уничтожить несколько больших домов, обходится от двадцати до двадцати пяти тысяч франков. У князя Истара было таких бомб всего лишь две. Стремясь добыть средств, Аркадий и Истар обратились вместе за поддержкой к знаменитому финансисту Макс Эвердингену, который, как всем известно, руководит крупнейшими кредитными учреждениями Франции и всего мира. Менее известно то, что Макс Эвердинген не был рожден от женщины, а являлся падшим ангелом. Тем не менее это истина. В небесах он назывался Софаром и охранял сокровища Иалдаваофа, большого любителя золота и драгоценных камней. Выполняя эти обязанности, он так пристрастился к богатству, что эту страсть уже невозможно было удовлетворить в обществе, не знающем ни биржи, ни банкиров. Сердце его пылало горячей любовью к богу евреев, которому он оставался верен очень долгое время. Но в начале XX века христианской эры, устремив с высоты небосвода взор свой на Францию, он увидел, что под именем республики эта страна преобразовалась в плутократию и что под видом демократического правления там безнадзорно и бесконтрольно господствует крупный капитал. С этой минуты пребывание в Эмпирее стало для него невыносимым. Он почувствовал влечение к Франции как к избранной родине, и однажды, захватив столько драгоценных камней, сколько мог взять с собой, он спустился на землю и обосновался в Париже. Там этот корыстный ангел преуспевал в делах. С тех пор как он материализовался, в лице его не осталось ничего небесного; оно воспроизводило во всей чистоте семитический тип и давало возможность любоваться морщинами и складками, которые свойственны лицам банковских деятелей и которые можно найти уже у менял на кар-

тинах Квентин-Матсиса. Его первые шаги были скромными, его успех — вызывающим. Он женился на уродливой женщине, и они оба могли видеть себя, как в зеркале, в своих детях. Особняк барона Макса Эвердингена, который высится на пригорке Трокадеро, ломится от художественных останков христианской Европы.



Барон принял Аркадия и князя Истара в рабочем кабинете, одной из самых скромных комнат особняка. Потолок ее украшен фреской Тьеполо, взятой из какого-то венецианского дворца. В кабинете стоит бюро регента Филиппа Орлеанского. Там же находятся шкафы, витрины, картины и статуи.

Аркадий, оглядывая стены, заметил:

— Как это случилось, о брат мой Софар, что, все еще обладая израильской душой, вы так плохо соблюдаете заповедь вашего бога,

гласящую: „Не сотвори себе кумира...“? Ибо я вижу здесь „Аполлона“ Гудона, „Гебу“ Лемуана и несколько бюстов Каффьери. И, подобно Соломону на склоне лет, вы помещаете, о сын бога, у себя в доме чужеземных идолов, например, вот эту „Венеру“ Буше, этого „Юпитера“ Рубенса, этих нимф, обязанных кисти Фрагонара тем смородинным вареньем, которое течет у них между смеющимися ягодицами. Вы храните, Софар, в одной лишь этой витрине скипетр Людовика Святого, шестьсот жемчужин из разрозненного ожерелья Марии-Антуанетты, императорскую мантию Карла V, тиару, чеканенную Гиберти для папы Мартина X Колонна, шпагу Бонапарта... Всего не перечислить...

— Пустяки,— сказал Макс Эвердинген.

— Мой милый барон, у вас есть,— заметил князь Истар,— перстень, который Карл Великий надел на палец фее и который считали потерянным... Но перейдем к делу. Мой друг и я — мы пришли просить у вас денег.

— Я так и думал,— ответил Макс Эвердинген.— Все просят денег, но для разных целей. Для чего просите денег вы?

Князь Истар ответил просто:

— Чтобы устроить революцию во Франции.

— Во Франции?— повторил барон.— Во Франции?.. Ну на это я денег не дам; можете быть уверены.

Аркадий не скрыл, что ожидал от небесного собрата большей щедрости и более широкой помощи.

— Наш план,— сказал он,— весьма обширен. Он охватывает небо и землю. Он разработан во всех деталях. Сначала мы произведем социальную революцию во Франции, в Европе, на всей нашей планете, затем перенесем войну на небеса и установим там мирную демократию. Но чтобы захватить небесные твердьни, чтобы разрушить Гору господню, чтобы штурмовать небесный Иерусалим, нужна большая армия, гигантские снаряжения, взрывчатые вещества огромной силы, электрофоры небывалой мощности. У нас нет средств обзавестись такими ресурсами. Революцию в Европе можно устроить с меньшими затратами. Мы собираемся начать с Франции.

— Вы сумасшедшие,— воскликнул барон Эвердинген,— сумасшедшие и дураки! Послушайте меня: Франция не нуждается больше ни в каких реформах. В ней все совершенно, закончено, неизменно. Слышите: неизменно!

И, чтобы придать больше силы своему утверждению, барон Эвердинген стукнул три раза кулаком по бюро регента.

— Наша точка зрения иная,— кротко сказал Аркадий.— Мы с князем Истаром полагаем, что в этой стране следует изменить все. Но к чему споры? Мы пришли к вам, о брат Софар, от имени пятисот тысяч небесных духов, решивших с завтрашнего дня начать вселенскую революцию.

Барон Эвердинген закричал, что они головорезы, что он не даст ни гроша, что преступно и безумно нападать на самую удивительную вещь в мире, на вещь, которая делает землю более прекрасной, чем небеса,— на финансы.

Он был поэтом и пророком; сердце его затрепетало священным вдохновением, и он изобразил французскую Бережливость, добродетельную Бережливость, чистую и непорочную Бережливость, подобную деве в Песне Песней, Бережливость, одетую в деревенскую юбочку и идущую из захолустья, чтобы принести ожидающему ее жениху, могучему и великодушному Кредиту, сокровище своей любви. Он изобразил, как Кредит, разбогатев от даров супруги, изливает на все народы мира потоки золота, которые сами собою, тысячами невидимых струек, возвращаются еще более обильными на благословенную почву, откуда они истекли.

— Благодаря Бережливости и Кредиту, Франция стала новым Иерусалимом, который озаряет все нации Европы, и цари земные лобызают его пурпурные стопы. И это вы хотите разрушить! Вы — богохульники и нечестивцы!

Так говорил ангел-финансист. Незримая арфа аккомпанировала его голосу, а глаза его метали молнии.

Между тем Аркадий, небрежно облокотившись на бюро регента, развернул перед глазами барона надземный, подземный и воздушный планы Парижа, на которых красными крестиками были обозначены те места, где бомбы одновременно должны быть заложены в погреб и подземелье, разбросаны по дорогам и сброшены флотилией аэропланов. Все финансовые учреждения, в том числе банк Эвердингена и его отделения, были отмечены красными крестиками.

Финансист пожал плечами.

— Бросьте! Вы просто нищие и бродяги, преследуемые полицией всего мира. У вас нет ни гроша. На какие деньги изготовите вы все эти снаряды?

Вместо ответа князь Истар вынул из кармана маленький медный цилиндр, который он любезно предложил барону Эвердингену.

— Видите вот эту обыкновенную коробочку? Достаточно уронить ее здесь на пол, чтобы немедленно превратить в груды дымящегося пепла ваш обширный особняк вместе с его обитателями и зажечь пожар, который истребит весь квартал Трокадеро. У меня таких штук десять тысяч; я их изготавливаю по три дюжины на день.

Финансист попросил керуба положить снаряд обратно в карман и сказал в примирительном тоне:

— Послушайте, друзья мои. Отправляйтесь немедленно же делать революцию на небе, а в этой стране оставьте все по-старому. Я подпишу вам чек. Вы сможете приобрести все материальные средства, нужные вам для атаки Иерусалима небесного.

И барон Эвердинген уже обдумывал великолепную аферу с электрофорами и военными поставками.

Глава XVIII,

где начинается рассказ садовника, в течение которого перед нами развернутся судьбы мира в рассуждении, столь же великолепном по широте взглядов, сколь узко и убого по своим воззрениям „Рассуждение о всемирной истории“

Боссюэта

Садовник усадил Аркадия и Зигу в глубине фруктового сада, в беседке, увитой диким виноградом.

— Аркадий,— сказала прекрасная архангельша,— сегодня Нектарий, быть может, откроет тебе то, что ты так пламенно стремишься узнать. Попроси его рассказать.

Аркадий попросил, и старый Нектарий, отложив в сторону трубку, начал так:

„Я знал его: это был прекраснейший из Серафимов. Он блистал умом и отвагой. В его широком сердце обитали все добродетели, которые порождает гордость: прямота, храбрость, твердость в испытаниях, упорная надежда. В те времена, предшествовавшие началу времен, он обитал в полудночном небе, где сверкают семь магнитных

звезд, во дворце из алмазов и золота, ежечасно оглашавшемся трепетом крыл и торжественными песнопениями. Иагве на своей горе завидовал Люциферу.

Вы сами знаете: ангелы, как и люди, чувствуют в себе зачатки любви и ненависти. Порой они способны на великодушные решения, но чаще повинуются выгоде и уступают страху. Тогда, как и теперь,



большинство из них не было способно на высокие помыслы, и страх перед Господином составлял всю их добродетель. Люцифер, являвший великое пренебрежение ко всему низменному, презирал эти толпы прирученных духов, погрязших в зрелищах и празднествах. Но тем, в которых жил дерзновенный ум, беспокойная душа, тем, которые пылали неукротимой любовью к свободе, он дарил свою дружбу, и те, в свою очередь, отвечали ему обожанием. Толпами покидали они Гору господню и воздавали Серафиму почести, которые тот, другой, требовал для себя одного.

Я занимал место среди Властей, и имя мое Алацил было небеславно. Чтобы насытить свой ум, вечно волнуемый ненасытной жаждой познания и разума, я наблюдал природу вещей, изучал свойства камней, воздуха и воды, старался постигнуть законы, управляющие как грубой, так и тонкой материей, и после долгих размышлений я понял, что вселенная возникла совсем не так, как старался нас в этом убедить ее лже создатель; я постиг, что все сущее существует само собой, а не по прихоти Иагве, что мир сам создает себя и что дух сам в себе бог. С тех пор я стал презирать Иагве за его обман и возненавидел его за враждебность ко всему, что я считал благим и желанным: к свободе, к пытливости ума, сомнению. Эти чувства приблизили меня к Серафиму. Я восхищался им, я полюбил его; я пребывал в его свете. Когда, наконец, стало ясно, что надо выбирать между ним и тем, другим, я стал на сторону Люцифера, проникшись одним лишь стремлением — служить ему, и одним лишь желанием — разделить его участь.

Когда война стала неизбежной, он подготовил ее с неутомимой бдительностью, всеми средствами расчетливого ума. Обратив Престолы и Власти в Халибов и Циклопов, он извлек из гор, окружающих его владения, железо, которое он предпочитал золоту, и выковал оружие в небесных пещерах. Затем он собрал на пустынных равнинах севера мириады духов, вооружил их, обучил и подготовил. Хотя затея его держалась втайне, но она так разрослась, что в скором времени о ней донесли противнику. Можно сказать, что тот всегда этого ждал и опасался, почему и преобразил свое жилище в крепость, а своих ангелов — в армию, приняв сам имя Бога Воинств. Он заготовил громы. Более половины детей неба остались ему верны; он видел, как теснятся вокруг него покорные души и терпеливые сердца. Архангел Михаил, который не ведал страха, принял командование над этими послушными полками.

Как только Люцифер увидел, что его войско не может больше усилиться ни в численности, ни в подготовке, он устремил его на врага и, обещав верным ему ангелам богатство и славу, двинулся во главе их к Горе, вершина которой поддерживает престол вселенной. Три дня воспламеняли мы своим полетом эфирные равнины. Над нашими головами развевались черные стяги восстания. Гора господня уже виднелась вдали, розовея в восточной части неба, и наш вождь окидывал взором ее блистающие укрепления. Под

сапфировыми стенами расположились вражеские ряды, сверкая золотом и драгоценными камнями, меж тем как мы двигались, одетые бронзой и железом. Их алые и голубые стяги развевались по ветру, и молнии вспыхивали на остриях их копий. Вскоре оба войска разделяло лишь узкое пространство — полоска земли, ровная и пустынная, при виде которой содрогнулись самые неустрашимые, помышляя, что там, в кровавой схватке, будут решаться судьбы.

Ангелы, как вы это знаете, не умирают. Но когда медь, железо, алмазное острие или пылающий меч разрывают их тончайшее тело, они чувствуют боль гораздо более жестокую, чем та, которую способны испытывать люди, так как плоть их более нежна, и, если уничтожен какой-нибудь важный орган, они становятся недвижимы, медленно разлагаются, превращаются в туманности и витают долгие века, ничего не чувствуя, рассеявшись, в холодном эфире. Когда же, наконец, возрождаются дух и оболочка, память о прошлой жизни не возвращается к ним во всей полноте. Таким образом, естественно, что ангелы боятся страданий, и храбрейшие из них приходят в трепет при мысли, что утратят лицезрение света и сладостные воспоминания. Будь это иначе, ангельский род не знал бы ни красоты борьбы, ни славы жертвы, и те, кто боролись в Эмпирее до начала времен за или против Бога Войств, предавались бы безо всякой чести мнимым битвам, и я не мог бы сказать вам, дети, со справедливой гордостью: „Я был там“.

Люцифер дал знак начать сражение и первый бросился вперед. Мы обрушились на врага, думая тотчас же разгромить его и с первого натиска овладеть священной твердыней. Воины ревнивого бога, менее пылкие, чем наши, но не менее стойкие, оставались непоколебимы. Архангел Михаил предводительствовал ими со спокойствием и решительностью благородного сердца. Трижды пытались мы прорвать их ряды, и трижды встречали они наши железные груди пламенными остриями своих копий, способных пронзить самые прочные латы. Миллионами падали тела славных. Наконец наш правый фланг опрокинул левый фланг противника, и Начала, Власти, Могущества, Силы и Престолы показали нам спины; они бежали, ударяя себя собственными пятками, меж тем как ангелы третьего чина, в смятении летая над ними, покрывали их снегом перьев, смешанным с кровавым дождем. Мы преследовали их среди обломков колесниц и груд оружия, ускоряя их быстрое бегство... Вдруг

буря криков поражает наш слух; она растет и приближается, полная воплей отчаяния и ликующих кликов: правый фланг противника — гигантские архангелы всевышнего — обрушился на наш левый фланг и сломил его. Нам приходится прекратить преследование беглецов и спешить на помощь расстроенным полкам. Наш князь летит туда и восстанавливает порядок. Но левый фланг противника, разгром которого мы не закончили, не чувствуя более натиска наших стрел и копий, ободрился, повернул назад и снова ударил на нас.

Ночь прервала нерешенную битву. Пока лагерь отдыхал под покровом сумерек, в тишине, которую временами пронизывали стоны равных, Люцифер готовился к следующему дню. До зари пробудили нас трубы. Наши воины неожиданно обрушиваются на неприятеля в час молитвы, рассеивают и избивают его. Когда уже все пали, или обратились в бегство, архангел Михаил вместе с несколькими соратниками о четырех огненных крылах еще держался против натиска бесчисленного войска. Они отступали, подставляя грудь под наши удары, и лицо Михаила было еще спокойно. Солнце совершило треть своего пути, когда мы начали взбираться на Гору господню. Подъем был круг: с чела струился пот, пламенный свет слепил глаза. Отягощенные железными доспехами, наши пернатые крылья уже не держали нас, но надежда придавала нам другие крылья, поднимавшие нас. Прекрасный Серафим, своей сияющей, все выше и выше возносящейся рукой, указывал нам путь. Весь день карабкались мы на надменную гору, которая вечером оделась в лазурь, розы и опалы. Звездное воинство, появившееся в небосводе, казалось отражением наших доспехов. У нас над головами простиралось бесконечное безмолвие. Мы шли опьяненные надеждой. Внезапно в потемневшем небе засверкали молнии. Загрохотал гром, и с высоты окутанной облаками горы пал небесный огонь. Наши шлемы и латы плавятся в пламени, щиты дробятся под ударами стрел, брошенных незримой рукой. Люцифер и в этом огненном урагане сохранял свою гордость. Тщетно гром поражал его повторными ударами: он держался стойко и бросал вызов врагу. Наконец молния, потрясши гору, низвергнула нас вперемежку с огромными глыбами сапфиров и рубинов, и мы, без сил, без воли, мы стали падать в течение времени, которого никто не мог бы измерить.

Я очнулся в скорбной тьме. И когда глаза мои привыкли к глубокому мраку, я заметил вокруг себя тысячи боевых товарищей,

распростертых на сернистой почве, по которой пробегали свинцовые отсветы... Мои глаза не видели ничего, кроме серных родников, дымящихся кратеров и ядовитых болот; ледяные горы и мглистые моря замыкали горизонт. Медное небо нависло над головой. И ужас этого места был так велик, что мы плакали, сидя на земле, положив локти на колени и подперев кулаками щеки.

Но вскоре, подняв глаза, я увидел Серафима, стоящего передо мной, как башня. Страдание наложило на его прежнее величие мрачную и великолепную красоту.

— Товарищи,— сказал он нам,—возрадуемся и возвеселимся, ибо теперь мы избавились от небесного рабства. Здесь мы свободны, и лучше свобода в аду, чем рабство на небе*. Мы не побеждены, ибо у нас осталась воля к победе. Мы сумели поколебать престол ревнивого бога; мы же и сокрушим его. Встаньте, товарищи, будьте смелы душой.

Тотчас же по его приказу мы нагромоздили горы на горы и на высотах их установили машины, которые стали метать пылающие скалы в божественные палаты. Небесное воинство было изумлено, и обитель славы огласилась стонами и криками ужаса. Мы уже собирались вернуться победителями на нашу высокую родину, но Гора господня сверкнула вендом зарниц, и молния, пав на нашу крепость, испепелила ее.

После этого нового поражения Серафим некоторое время размышлял, охватив голову руками. Потом он поднял почерневшее лицо. Теперь он стал Сатаной, более великим, чем Люцифер. Верные ангелы столпились вокруг него.

— Друзья,— сказал он нам,—если мы еще не победили, это значит, что мы недостойны и неспособны победить. Узнаем же, чего нам недостает. Водариться над природой, господствовать над вселенной, стать богом можно только через знание. Нам нужно овладеть молнией, и этим должны мы заняться немедленно. Но не слепое мужество (ибо нельзя было проявить большее мужество, чем проявили мы в тот день!) даст нам божественные стрелы, а наука и мышление. В этом безмолвном месте, куда мы низвергнуты, будем мыслить, будем постигать скрытые причины вещей.

* „Better to reign in Hell, than serve in Heavn“. „Paradise Lost“, book I, v. 254. [Примечание автора.]

Будем наблюдать природу; будем исследовать ее с могучим рвением и всепобеждающим желанием; постараемся проникнуть в ее бесконечно великое и в ее бесконечно малое. Познаем, когда она бывает бесплодна и когда изобильна; как создает она тепло и холод, радость и страдание, жизнь и смерть; как она сочетает и разделяет стихии, как создает тонкий воздух, которым мы дышим, алмазные и сапфировые скалы, с которых мы были низринуты, и небесный огонь, которым мы опалены, и гордую мысль, которая волнует наш дух. Покрытые глубокими ранами, пострадавшие от пламени и льда, возблагодарим судьбу, которая открыла нам глаза, и возрадуемся нашей участи. Через страдание приобрели мы первое знакомство с природой, оно же побуждает нас познать ее и подчинить себе. Когда она покорится нам, мы станем богами. Но если даже она навеки скроет от нас свои тайны, если мы не овладеем ее оружием и не откроем секрета молнии, мы все же должны радоваться, что познали страдание, ибо оно пробудило в нас новые чувства, более ценные и сладостные, чем те, которые можно испытать в обители вечного блаженства, ибо оно внушило нам любовь и жалость, неведомые небесам.

Эти слова, произнесенные Серафимом, преобразили наши сердца и окрылили нас надеждой. Грудь у нас вздымалась от великой жажды познания и любви.

Тем временем начала рождаться земля. Ее огромный туманный шар с каждым часом сжимался и уплотнялся. Воды, питавшие водоросли, кораллы, ракушки и носившие на себе легкие флотилии моллюсков, больше не покрывали его целиком; они улеглись в своих водоемах, и стали возникать материи, где в теплом иле извивались чудовищные амфибии. Потом горы оделись лесом и различные виды животных стали щипать траву, мох, ягоды с кустарников и жолуди с дубов.

Затем пещерами и углублениями скал овладел тот, который научился заостренным камнем поражать диких зверей и хитростью побеждать исконных обитателей лесов, равнин и гор. Человек начал свое владычество в тяжелых условиях. Он был слаб и наг. Редкая шерсть плохо защищала его от холода, а ногти на пальцах были слишком хрупки, чтобы бороться с когтями хищников; но строение его больших пальцев, отделяющихся от остальных, давало ему возможность легко захватывать различные предметы и сообщало ему

ловкость, возмещавшую недостаток силы. Не отличаясь существенно от прочих животных, он более других был способен наблюдать и сравнивать. Так как он умел извлекать из своей гортани разнообразные звуки, то ему пришлось в голову обозначать различными изменениями голоса все предметы, поражавшие его ум, и этот ряд различных звуков помог ему определять и сообщать свои мысли. Его жалкая участь и его беспокойный дух внушили сочувствие побежденным ангелам, которые узнали в нем дерзновение, подобное их собственному, и зачатки той гордости, которая была причиной их страданий и славы. В большом количестве стеклись они, чтобы жить подле него на юной земле, где их легко носили крылья. Там они принялись оттачивать его ум и укреплять его дух. Они научили его одеваться в шкуры диких зверей и заваливать камнями вход в пещеры, чтобы тигры и медведи не могли туда забраться. Они научили его добывать искру трением палки о сухие листья и сохранять на камнях очага священный огонь. Вдохновленный мудрыми демонами, он осмелился переплывать потоки на разрубленных и выдолбленных стволах; он изобрел колесо, жернов и плуг; соха раздрала землю плодородной раной, и зерно дало тем, кто его толоч, божественную пищу. Он лепил посуду из глины и выделывал из кремня различные орудия. Словом, пребывая среди людей, мы их утешали и наставляли. Мы не всегда были видимы для них; но по вечерам, на поворотах дорог, мы являлись им в образах, часто причудливых и странных, иногда же величавых и прелестных, принимая по своему желанию вид водяного или лесного чудовища, почтенного старца, прелестного ребенка, либо женщины с широкими бедрами. Порой случалось нам смеяться над ними в песнях или испытывать их ум какой-нибудь острой шуткой. Некоторые из нас, более неутомимого нрава, любили морочить их жен и детей, но мы всегда были готовы придти на помощь нашим малым братьям.

Благодаря нашим заботам, их ум достаточно развился, чтобы получить способность заблуждаться и ложно понимать соотношение вещей. Полагая, что образ связан с действительностью магическими узлами, они покрывали фигурами животных стены своих пещер и вырезывали на кости подобия оленей и мамонтов, дабы овладеть добычей, которая была изображена. Бесконечно медленно протекали века, пока креп их разум. Мы посылали им во сне счастливые

мысли, внушая приручать лошадей, холостить быков, учить собак стеречь овец стада. Они создали семью, племя. Раз как-то на одно из их бродячих племен напали дикие охотники. Тотчас же молодые мужчины этого племени устроили из повозок ограду, за которой укрыли женщин, детей, стариков, быков, соковища, и с высоты повозок стали осыпать смертоносными камнями нападающих. Так был основан первый город. Рожденный слабым и обреченный законом Иагве на убийства, человек закалил свое сердце в битвах и воспитал в войне свои высшие доблести. Он освятил своей кровью священную любовь к родине, которой суждено будет, если человек до конца выполнит свое назначение, охватить миролюбиво всю землю. Один из нас, Дедал, изобрел для человека секиру, отвес и парус. Итак, мы сделали существование смертных менее горьким и трудным. Они стали строить на озерах тростниковые деревни, где могли спокойно наслаждаться мыслью, что было неизвестно другим обитателям земли, а когда они научились утолять голод без чрезмерных усилий, мы вдунули им в грудь любовь к красоте.

Они стали воздвигать пирамиды, обелиски, башни, гигантские улыбающиеся статуи, прямые и грозные, а также символы деторождения. Научившись узнавать нас, или, по крайней мере, угадывать, люди почувствовали к нам страх и приязнь. Мудрейшие из них в священном трепете следили за нами и размышляли над нашими указаниями. В знак благодарности, народы Греции и Азии посвящали нам камни, деревья, тенистые рощи, приносили нам жертвы, пели гимны; словом, мы были для них богами, и они называли нас Горусом, Изидой, Астартой, Зевсом, Палладой, Кибелой, Деметрой и Триптолемом. Сатане поклонялись они под именем Диониса, Эана, Иакха и Ленея. Он являлся людям во всей силе и красоте, какую только они способны были воспринять. Его глаза были ласковы, как лесные фиалки; губы сверкали рубином раскрывшихся гранат; пушок, более нежный, чем у персика, покрывал ему щеки и подбородок; белокурые волосы, заплетенные в виде диадемы и связанные на затылке свободным узлом, были увиты плющом. Он зачаровывал хищных зверей и, проникая в лесную густую чащу, привлекал к себе все дикие души, всех тех, что лазят по деревьям и смотрят сквозь ветви горящими глазами, все свирепые и боязливые существа, которые питаются горькими ягодами и у

которых в груди, покрытой шерстью, бьется первобытное сердце лесных полулюдей; он наделял их благожелательностью и изысканством, и они следовали за ним, опьяненные радостью и красотой. Он насадил виноградную лозу и научил смертных давить гроздь, чтобы выжать из них вино. Великолепный и благотворящий, он обошел весь свет, сопутствуемый многочисленной свитой. Чтобы следовать за ним, я принял облик козлоногого: на лбу у меня прорезались два маленьких рога; нос был приплюснутый, а уши заостренные; два желвака свисали с шеи, как у козы; за спиной изгибался козлиный хвост, а волосатые ноги заканчивались черными раздвоенными копытами, которые мерно ударяли по земле.

Дионис свершал свое победное шествие по свету. Я прошел с ним Лидию, фригийские поля, раскаленные равнины Персии, Мидию, покрытую изморозью, счастливую Аравию и богатую Азию, цветущие города которой омывает море. Он продвигался на колеснице, запряженной львами и рысями, под звуки флейт, кимвалов и тимпанов, изобретенных для его таинств. Вакханки, Фиады и Менады, опоясанные шкурами ланей, потрясали тирсами, увитыми плющом. Он увлекал за собой Сатиров, веселую толпу которых я возглавлял, Силенов, Панов и Кентавров. Под его стопами рождались цветы и плоды, и, ударяя своим тирсом о скалы, он извлекал оттуда прозрачные ключи.

Когда начинался сбор винограда, он прибывал в Грецию; поселяне сбегались навстречу, раскрасившись зеленым или красным соком растений, и, закрыв лица масками из дерева, коры или листьев, они кружились в сладострастных плясках, с глиняными чашами в руках. Их жены, подражая спутницам бога, увенчивали себе головы зеленым плющом и обвязывали гибкие бедра шкурами ланей и козлят. Девушки привязывали к шее гирлянды из фиг, замешивали мучные пироги и носили Фаллус в освященной корзине. И виноградари, измазанные суслом, стоя на повозках и обмениваясь с прохожими шутками и насмешками, создавали начатки трагедии.

Разумеется, не дремля на берегу ручья, но тяжким трудом научил Дионис людей сажать растения и выращивать на них сладкие плоды. И пока он размышлял о том, как из грубых обитателей леса сделать племя друзей лиры, подчиненное справедливым законам, не раз по челу его, горевшему вдохновением, пробегала тень

печали и мрачных грез. Но глубокая мудрость и любовь к людям дали ему силы преодолеть все препятствия. О божественные дни! О прекрасная заря жизни! Мы творили вакханалии. Наяды и Орeadы присоединялись к нашим играм. Афродита при нашем приближении выходила из пенистых волн и улыбалась нам“.

Глава XIX

Продолжение рассказа

„Когда люди научились обрабатывать землю, пасти стада, окружать стенами священные крепости и узнавать богов по их красоте, я удалился в ту мирную страну, которую опоясывают густые леса и орошают Стимфал, Ольбий, Эриманф и гордый Кратис, вздувшийся от ледяных вод Стикса, и там, среди свежей долины, у подножия холма, поросшего кизилом, оливковыми деревьями и сосной, в роще платанов и серебристых тополей, на берегу ручья, тихо журчавшего под сенью мастиковых деревьев, я цел пастухам и нимфам о рождении мира, о происхождении огня, незримого воздуха, воды и земли. Я рассказывал им, как жили в лесах первые люди, нагими и жалкими, пока изобретательные демоны не научили их ремеслам и искусствам, рассказывал им о мистериях нашего бога, а также о том, что Семела считается матерью Диониса, ибо его мудрые помыслы родились от молнии.

Народ, из всех — любезнейший демонам, — счастливые греки — не без усилий выучились мудрому управлению и искусствам. Их первым храмом была хижина из лавровых веток; первым изображением богов — дерево; первым алтарем — необтесанный камень, обогранный кровью Ифигении. Но вскоре они вознесли мудрость и красоту на такую высоту, которой ни один народ не достигал до них и к которой ни один народ не приблизился после. Откуда же явилось, Аркадий, это чудо, единственное на земле? Почему священная почва Ионии и Аттики вскормила этот несравненный цветок? Потому что там не было ни жречества, ни догмы, ни откровения, и греки никогда не знали ревнивого бога. Свой собственный гений, свою собственную красоту обоготворил эллин, и когда он подымал взоры к небу, он лидезрел там свой образ. Он создал все по своему мерилу

и дал своим храмам идеальные пропорции: все в них — изящество, гармония, мера и мудрость; все — достойно бессмертных, которые обитали в них и под счастливыми именами, в совершенных формах воплощали гений человеческий. В колоннах, поддерживающих мраморные архитравы, во фризах и карнизах было нечто человеческое, что сообщало им благородство, и иногда, как например, в Афинах и Дельфах, красивые девушки, здоровые и смеющиеся, поддерживали антаблемент сокровищниц и святилищ. О великолепии, гармония, мудрость!

Дионис решил направиться в Италию, где именем Вакха называли его народы, жаждавшие праздновать его таинства. Я отплыл на его корабле, украшенном виноградными ветвями, и причалил к устью желтого Тибра, под взорами двух братьев Елены. Жители Лациума, следуя наставлениям бога, уже научились скрещивать вяз с виноградной лозой. Я избрал обиталищем долину у подножия Сабинских гор, окруженную лиственным лесом и орошаемую чистыми источниками. Я собирал на дугах вербену и мальву. Бледные оливковые деревья, изгибавшие по склону холма стволы свои, доставляли мне маслянистые плоды. Там поучал я людей с квадратными головами, которые не обладали, как греки, живым умом, но зато сердце их было твердо, душа терпелива, и они почитали богов.

Мой сосед, земледелец-воин, в течение пятнадцати лет, сгибаясь под ношей, следовал за римскими орлами по горам и морям и видел, как бегут враги царя-народа. Теперь он вел по борозде пару рыжих быков, у которых на лбу между широко расставленными рогами белела звезда. А под соломенной кровлей, его целомудренная и строгая супруга толкла чеснок в бронзовой ступке и варила бобы на священном камне очага. А я, его друг, сидя недалеко под дубом, услаждал ему труд звуками моей флейты и улыбался его детишкам, которые возвращались из лесу, нагруженные ветвями, в час, когда уже низко стоявшее солнце удлиняло тени. У калитки сада, где зрели груши и тыквы, цвели лилии и вечно зеленый акант, вырезанная из обрубка смоковницы фигура Приапа угрожала ворам своим гигантским фаллусом, а тростник, колеблемый ветром над его головой, пугал птиц-грабителей. В новолуние благочестивый земледелец приносил в дар своим ларам, увенчанным миртом и розмарином, горсть соли и ячменя.

Я видел, как росли его дети и дети его детей, сохраняя в сердце первобытное благочестие и не забывая приносить жертвы Вакху, Диане и Венере, лить чистое вино и бросать цветы в источники. Но постепенно они утрачивали старинное терпение и простоту. Я слышал их жалобы, когда поток, вздувшийся от обильных дождей, принуждал их строить плотину для защиты отцовского поля. Терпкое сабинское вино раздражало их нежное небо. В соседней таверне они пили греческие вина и там забывали время, любясь под лиственным навесом пляской флейтистки, искусно изгибавшей под звуки кротала гладкие бедра. Земледельцы предавались сладостной праздности под шопот листьев и ручьев, а между тополями, по краям священной дороги, уже подымались гигантские гробницы, статуи и алтари, и все чаще слышался грохот колесниц по истертым плитам. Молодое вишневое дерево, принесенное каким-то ветераном, поведало нам о далеких завоеваниях консулов, а оды, которые пелись под звуки лиры, рассказали о победах Рима, владыки вселенной.

Все страны, по которым некогда прошел великий Дионис, обрацая диких зверей в людей, умножая плоды и жатвы на пути своих Менад, жили теперь под мирным владычеством Рима. Вскормленный волчицей, солдат и землекоп, друг побежденных народов — римлянин прокладывал дороги от берегов туманного океана до крутых склонов Кавказа; во всех городах воздвигались храмы Августу и Риму, и такова была вера всего мира в латинское правосудие, что раб, изнывавший под непосильным бременем, зывал к Цезарю, будь то в ущельях Фессалии или на лесистых берегах Рейна. Но отчего на этом несчастном шаре земли и воды все вянет и умирает и наиболее прекрасные создания наиболее глупы? О дивные дочери Греции! О Наука, о Мудрость, о Красота, благодетельные божества, — вы погрузились в летаргический сон раньше, чем подверглись надруганиям варваров, которые среди своих северных болот и печальных степей, готовясь напасть на вас, объезжали без седла низкорослых и длинношерстых своих лошадей.

Милый Аркадий, в то время как терпеливый легионер раскидывал свой лагерь на берегах Фазоса и Танаиса, женщины и жрецы Азии и чудовищной Африки заполняли вечный город, смущая своими чарами сынов Рема. До сей поры враг искусных демонов — Иагве — был известен в мире, который он якобы создал, создал

лишь нескольким жалким сирийским племенам, долгое время столь же жестоким, как и он сам, и беспрерывно переходившим из одного рабства в другое. Воспользовавшись римским миром, который повсеместно обеспечивал свободу передвижения и торговли и благоприятствовал обмену товарами и идеями, этот старейший бог подготовил дерзкий захват Вселенной. Не он один пытался осуществить подобное намерение. Одновременно с ним целая толпа богов, демиургов, демонов, как например, Митра, Тамуз, благая Изиды, Евбул, мечтали овладеть умиротворенной землей. Из всех этих духов Иагве менее других был подготовлен к победе. Его невежество, жестокость, тщеславие и азиатская роскошь, его пренебрежение к законам, его упорное желание оставаться незримым могли лишь оскорблять эллинов и латинян, воспитанных Дионисом и музами. Он сам почувствовал, что неспособен покорить сердца свободных людей и просвещенный разум, и поэтому прибег к хитрости. Чтобы внести соблазн в души, он придумал басню, уступавшую, конечно, в изобретательности тем мифам, которыми мы украсили мысль наших древних учеников, но все же способную взволновать слабые умы, встречающиеся всюду в великом множестве. Он провозгласил, что все люди повинны в грехе против него, в грехе наследственном, и за это несут кару и в настоящей жизни и в будущей (ибо смертные в безрассудстве своем воображают, будто их существование продолжается и в аду); и лукавый Иагве возвестил, что он послал собственного сына на землю, дабы тот кровью своей оплатил долг людей. Невероятно, чтобы страдание искупало вину, и еще менее вероятно, чтобы невинный мог оплатить долг виновного. Страдания невинного ничего не возмещают, они лишь прибавляют зло ко злу. Все же нашлись несчастные существа, которые поклонились Иагве и его сыну-искупителю и провозгласили таинства их как благую весть. Нам следовало ожидать этого безумия. Разве не видели мы многократно, что, когда люди были беспомощны и наги, они простирались ниц перед всеми видениями, рожденными страхом, и вместо того, чтобы следовать урокам добрых демонов, повиновались велениям жестоких демиургов? Иагве хитростью уловил души, как сеть. Но он не извлек из этого для славы своей всей выгоды, какую ожидал. Не ему, а сыну его воздали люди поклонение и именем того наименовали новый культ. Сам же Иагве оставался на земле почти неизвестным“.

Глава XX

Продолжение рассказа

„Новое суеверие прежде всего распространилось в Сирии и Африке, потом захватило морские порты, кипащие отверженцами рода человеческого, и проникло в Италию, где заразило сначала куртизанок и рабов, а затем стало делать быстрые успехи среди городской черни. Но еще долгое время оно не затрагивало сел. Как и в древности, крестьяне посвящали Диане сосну, которую каждый год орошали кровью молодого кабана, умилялись ларов жертвенной свиньей и приносили Вакху, благодетелю людей, козленка ослепительной белизны; а если были очень бедны, то для хранителей очага, виноградника и поля у них всегда находилось немного вина и муки. Мы внушили им, что достаточно коснуться алтаря чистой рукой и что боги радуются и малой жертве. Между тем царство Иагве проявлялось во многих местах безумием. Христиане жгли книги, свергали алтари, поджигали города, неся разрушение даже в пустыни. Там тысячи несчастных, обратив свое неистовство против себя же самих, раздирали себе тело железными остриями; и со всей земли вместо славословий неслись к богу стоны добровольных жертв. Мой тенистый приют ненадолго избег бешенства одержимых...

На вершине холма, который высится над оливковой рощей, ежедневно оглашаемой звуками моей радостной флейты, стоял с первых веков римского владычества маленький мраморный храм, круглый, как хижины предков. У него не было стен; на доколе, высотой в семь ступеней, были расположены в круг шестнадцать колонн с завитками аканта, а на них покоился купол из белой черепицы. Этот купол прикрывал Амура, натягивающего лук, статую работы афинского скульптора. Казалось, дитя дышит; радость сияла на его устах; все члены его были гармоничны и гибки. Я чтил это изображение могущественнейшего из богов и учил поселян приносить ему в жертву чашу, увитую вербеной и наполненную двухлетним вином.

Однажды, когда я по обыкновению сидел у ног бога, обдумывая поучения и песни, незнакомый человек, свирельщик, обросший бородой,

приблизился к храму, одним прыжком перескочил через мраморные ступени и со зловещей радостью воскликнул:

— Погибни, отравитель душ, и да погибнут вместе с тобою радость и красота.

Так сказав, он вытащил из-за пояса топор и занес над богом. Я схватил его за руку, бросил наземь и стал топтать копытами.

— Демон,— крикнул он мне с мрачной отвагой,— дай мне опрокинуть этого идола, а потом можешь убить меня!

Я не исполнил ужасной мольбы, но налег всей тяжестью ему на грудь, затрепавшую под моим коленом, и, сжав ему обеими руками горло, задушил нечестивца.

Он лежал, побагровев и высунув язык, у ног улыбающегося бога, я же, тем временем, очистился в священном источнике. Затем, покинув эту страну, ставшую добычей христиан, я прошел Галлию и достиг берегов Соны, куда Дионис некогда занес виноградную лозу. Христианский бог еще не был известен этим счастливым народам. Они поклонялись густолиственному буку за его красоту и увешивали полосками шерстяной материи чтимые ветви, ниспадающие до самой земли. Они поклонялись также священному источнику и ставили во влажных гротах глиняных божков. Они приносили в дар нимфам лесов и гор маленькие сыры и чаши с молоком. Но вскоре новый бог прислал и к ним апостола печали. Он был суше вяленой рыбы. Несмотря на истощение от постов и бдений, он с неугасимым жаром учил каким-то темным тайнам. Он любил страдание, считая его благим, и с яростью преследовал все прекрасное, изящное и радостное. Священное дерево пало под ударами его топора. Он ненавидел нимф за то, что они прекрасны, и осыпал их проклятиями, когда по вечерам их округлые бедра блистали сквозь листву; он питал отвращение к моей нежной флейте. Бедняга верил, что существуют заклинания, которыми можно изгнать бессмертных демонов, живущих в прохладных гротах, в чаще лесов и на вершинах гор. Он думал осилить нас при помощи нескольких капель воды, над которыми он произносил некие слова и делал какие-то движения. Нимфы, чтоб отомстить, являлись ему по ночам и будили в нем пламенное желание, которое этот отверженец считал греховным; затем они убегали, рассыпая по полям свой звонкий смех, меж тем как жертва их, пылая всем телом, корчилась на подстилке из

листьев. Так божественные нимфы смеются над заклинателями, издеваются над злыми и их нечистым целомудрием.

Апостол не мог причинить столько вреда, сколько хотел, потому что просвещал умы простые и покорные природе; а ограниченность большинства людей такова, что они мало способны делать выводы из внушаемых им правил. Рошица, где я жил, принадлежала одному галлу из сенаторской фамилии, хранившей остатки латинской утонченности. Он любил молодую вольноотпущенницу и делил с нею пурпурное ложе, расшитое нарциссами. Рабы обрабатывали его виноградник и сад, а он был поэтом и, подражая Авзонию, воспевал Венеру, секущую своего сына розами. Хотя он и был христианином, он приносил мне как местному гению молоко, плоды и овощи. В благодарность я услаждал его досуги звуками моей флейты и навевал ему счастливые сны. На деле эти мирные галлы очень мало знали об Иагве и его сыне.

Но вот на горизонте зажглось зарево, и пепел, доносимый ветром, стал падать на лесные прогалины. По дорогам потянулся длинный ряд повозок, крестьяне гнали перед собой скот. В деревнях раздались вопли ужаса: „Бургунды!..“ Показался первый всадник с копьём в руке, весь в светлой бронзе, с длинными рыжими волосами, спадающими на плечи двумя косами. Потом их появилось двое, потом двадцать, потом тысячи, свирепых, покрытых кровью. Они избивали стариков и детей, насиловали женщин, даже старух, седые волосы которых прилипали к их подошвам вместе с мозгом новорожденных младенцев. Мой молодой галл и его вольноотпущенница обагрили своей кровью ложе, расшитое нарциссами. Варвары сжигали базилики, чтобы жарить в них целых быков, разбивали амфоры и ушивались вином в жидкой грязи затопленных подвалов. За ними, набившись в походные повозки, следовали их полуголые жены. Сенат, население городов и духовенство погибало в пламени, а бургунды избывали свой хмель сном под аркадами форума. А недели две спустя уже можно было видеть, как один из них улыбался в густую бороду, глядя на ребенка, которого его белокурая жена держала на руках, сидя у порога дома; другой разводил огонь в кузнице и в такт ударял по железу; третий пел под дубом столпившимся товарищам про богов и героев своего народа, а иные разложили на продажу камни, упавшие с неба, рога зубров и амулеты. И исконные жители страны мало-помалу

успокаивались, выходили из лесов, где скрывались, восстанавливали сожженные хижины, принимались вновь обрабатывать поля и подрезать виноградные лозы. Жизнь возобновилась. Но времена настали такие тяжелые, каких еще не переживало человечество. Варвары завладели империей. У них были грубые нравы, а так как им были свойственны мстительность и жадность, то они твердо верили в искупление грехов. Басня о Иагве и его сыне пришлась им по душе, и они тем охотнее уверовали в нее, что восприняли ее от римлян, которых считали учнее себя, втайне восхищаясь их искусством и обычаями. Увы, Греция и Рим получили слабоумных наследников! Вся ученость была утрачена. Петь в церковном хоре считалось уже большою заслугою, а знавшие наизусть несколько фраз из Библии слыли за редких гениев. Правда, еще водились поэты, как водились птицы, но стихи их хромали на каждой стопе. Древние демоны, добрые гении человека, которых поносили, гнали, преследовали, травили,—прятались в лесах; если они еще и являлись людям, то, дабы держать их в страхе, принимали ужасные обличья: красную, зеленую или черную кожу, косые глаза, огромную пасть с кабаньими клыками, рога, сзади хвост, иногда человеческое лицо на животе. Нимфы все еще были прекрасны; варвары, не зная нежных имен, которые они носили раньше, называли их феями, приписывали им своевольный нрав и ребячьи склонности, боялись их и любили.

Мы очень ослабели, очень уменьшились в числе, но не потеряли мужества и, сохранив веселый нрав и доброе расположение к людям, были в эти жестокие времена верными их друзьями. Заметив, что варвары мало-помалу делались менее мрачными и менее свирепыми, мы изобретали способы общения с ними под самыми различными видами. С тысячею предосторожностей, при помощи ловких приемов мы внушали им не считать старого Иагве непреложным владыкой, не подчиняться слепо его приказаниям, не опасаться его угроз. В случае необходимости мы пользовались искусством магии. Мы беспрестанно побуждали их изучать природу и отыскивать следы античной мудрости. Эти северные воины, не смотря на все их невежество, знали некоторые механические искусства. Они верили, что на небе происходят битвы. Звуки арфы вызывали у них слезы, и, быть может, сердца их были более способны на великие деяния, чем сердца выродившихся галлов и рим-

лян, земли которых они захватили. Они не умели ни обтесывать камень, ни полировать мрамор; но из Рима и Равенны они привозили порфир и колонны, и их вожди употребляли в качестве печатей геммы, вырезанные греками в годы, когда чтили красоту. Они возводили стены из кирпичей, искусно расположенных стрелками, и им удавалось строить довольно красивые церкви с карнизами на консолях, в виде грозных голов, и с тяжелыми капителями, на которых чудовища пожирали друг друга.

Мы обучали их поэзии и наукам. Один из наместников их бога, Герберт, брал у нас уроки физики, арифметики и музыки, и про него говорили, что он продал нам душу. Проходили века, но нравы оставались грубыми. Мир был в огне и крови. Преемники усердного в науке Герберта, не довольствуясь тем, что подчинили себе души (выгода от этого неувловимее воздуха), пожелали владеть и телами. Они заявили притязание на мировую монархию, право на которую передал им какой-то рыбак с Тивериадского озера. Один из них воображал некоторое время, что одержал верх над тяжеловесным германцем, преемником Августа. Но в конце концов духовные владыки должны были поделиться с мирскими, и народам пришлось разрываться между двумя соперничающими властителями. Народы эти организовались среди ужасающих неурядиц. То были сплошные войны, голод, избиение. Так как люди приписывали бесконечные беды, сыпавшиеся на них, своему богу, то называли его всеблагим, и отнюдь не иносказательно, ибо, по их мнению, лучшим был тот, кто наносил более сильные удары. В эти века насилия, дабы обрести досуг для научных занятий, я принял решение, словно бы удивительное, но разумное.

Между Соной и Шарольскими горами, где пасутся быки, есть лесистый холм, покатые склоны которого переходят в луга, орошаемые свежим ручьем. Там стоял монастырь, знаменитый во всем христианском мире. Я скрыл под рясой свои копыта и стал монахом в этом аббатстве, где жил спокойно, в стороне от военных людей, которые, будь они друзья или враги, одинаково несносны. Человечеству, впадшему в детство, приходилось всему учиться наново. Брат Лука, мой сосед по келье, изучавший нравы животных, утверждал, что ласка зачинает детенышей через ухо. Я собирал в полях целебные травы, чтобы облегчать страдания больных, которых до сих пор лечили прикосновением к мощам святых. В аббат-

стве было еще несколько демонов, моих собратьев, которых я признал по копытгам и по приветливым речам. Соединенными усилиями старались мы просветить заскоруждые умы монахов.

В то время как под стенами монастыря детишки играли в „классы“, монахи предавались другой, столь же пустой игре, которой забавлялся также и я; в конце концов надо же как-нибудь убивать время, ибо, если вдуматься, это — единственное назначение жизни. Игра наша была игрою слов, которая радовала наш ум, изощренный и в то же время грубый, — она создавала школы и волновала все христианство. Мы делились на два лагеря. Один лагерь утверждал, что, прежде чем возникли яблоки, существовало изначальное Яблоко, прежде чем возникли попугаи, существовал извечный Попугай, прежде чем возникли развратные и чревоугодливые монахи, существовали изначальные — Монах, Разврат и Чревоугодие, прежде чем возникли ноги и зады в этом мире, изначальный Пинок ногой в зад предвечно существовал в лоне божием. Другой лагерь заявлял, что, наоборот, яблоки дали человеку идею яблочка, попугай — идею попугая, монахи — идею монаха, чревоугодия и разврата, и что пинка в зад не существовало до тех пор, пока кто-то впервые не дал его по заслугам другому. Игроки входили в азарт, и дело доходило до рукопашной. Я примкнул ко второму мнению, которое более удовлетворяло моему мышлению и которое не даром было осуждено на Суассонском соборе.

Тем временем, не довольствуясь драками между собой, — вассалов против сюзеренов и сюзеренов против вассалов, — сеньеры задумали двинуться войной на Восток. Они говорили, насколько мне помнится, что идут освобождать гроб господень. Так говорили они; но идти в далекие края за землями, женщинами, рабами, золотом, миррой и ладаном их побуждала страсть к приключениям и корыстолюбию. Эти походы — надо ли говорить? — все кончались разгромами; но наши тяжеловесные соотечественники вынесли из них знакомство с ремеслами и искусствами Востока и вкус к пышности. С тех пор нам стало легче принуждать их к труду и толкать на путь изобретений. Мы стали строить церкви дивной красоты, со смело изогнутыми арками, стрельчатыми окнами, высокими башнями, тысячами колоколенок и острыми шпицами, которые, вздымаясь в небо Иагве, вместе с тем несли ему и молитвы смиренных, и угрозы гордых, — ибо все это было столь же делом рук наших, сколь и

человеческих. Странное зрелище представлял собор, над которым трудились совместно люди и демоны, где каждый пилил, полировал, складывал камни, вырезывал на капителях и карнизах крапиву, терновник, чертополох, жимолость, земляничные листочки, высекал статуи дев и святых или причудливые изображения змей, рыб с ослиной головой, обезьян, почесывающих зад,— где, словом, каждый вкладывал в работу свой собственный дух, возвышенный или причудливый, смиренный или дерзкий, так что все вместе создавало гармоничную какофонию, восхитительную песнь радости и скорби, триумфальную Вавилонскую башню. По нашему наущению резчики, ювелиры, мастера эмали совершали чудеса, и все искусства роскоши зацвели разом: лионские шелка, arrasские ковры, реймские полотна, руанские сукна. Почтенные купцы отправлялись на ярмарки верхом на кобыле, везя с собой свертки бархата и парчи, вышивки, тканые золотом шелка, драгоценные украшения, серебряную утварь и книги, украшенные цветными рисунками. Веселые подмастерья устанавливали подмости в церквях или на людных площадях и представляли, в меру своего разумения, деяния небесные, земные или адские. Женщины щеголяли роскошными нарядами и беседовали о любви. Весной, когда небо делалось синим, всех — знатных и простых — охватывало желание порезвиться на лужке, пестреющем цветами. Скрипач настраивал инструмент; дамы, рыцари и девицы, горожане и горожанки, поселяне и девушки, взявшись за руки, водили хороводы. Но внезапно Война, Голод и Чума входили в круг, и Смерть, вырвав скрипку из рук музыканта, заводила свой танец. Пожары истребляли села и монастыри, воины вешали на дубах у перекрестков крестьян, не заплативших выкуп, и привязывали к деревьям беременных женщин, и ночью волки пожирали плод у них в чреве. Бедняки теряли рассудок. Иной раз, в пору затишья и мирной жизни, они без всякой причины, гонимые безумным страхом, покидали дома и бежали толпами, полунагие, раздирая себе тело железными крючьями и распевая гимны... Я не виню Иагве и его сына во всем этом зле. Много дурного делалось помимо него и вопреки ему. Но я узнал образ мыслей его, этого всеблагого бога (как они его называли), в обычае, установленном его наместниками и распространившемся по всему христианскому миру,— сжигать под звон колоколов и пение псалмов мужчин и женщин, которые по наущению демонов возглашали инакомыслие о боге“.

Глава XXI

Продолжение и конец рассказа

„Казалось, наука и мысль погибли навсегда и земле не суждено более познать мир, радость и красоту.

Но однажды рабочие, роя землю у края древней дороги, под стенами Рима, нашли мраморный саркофаг, на поверхности которого были высечены изображения Амура и вакхических празднеств. Когда приподняли крышку, взорам предстала девушка, лицо которой сияло ослепительной свежестью. Длинные волосы рассыпались по белым плечам. Казалось, она улыбается во сне. Группа горожан, охваченных восторгом, подняла погребальное ложе и отнесла его в Капитолий. Народ толпами стекался смотреть на неизреченную красоту римской девушки и стоял вокруг в молчании, ожидая пробуждения божественной души, заключенной в столь пленительную оболочку. Наконец весь город пришел в такое волнение от этого зрелища, что папа, не без основания испугавшись, как бы это сияющее тело не породило языческого культа, велел ночью похитить его и тайно похоронить. Тщетная предосторожность! Напрасные усилия! После стольких веков варварства, античная красота на миг предстала взорам людей, и этого было достаточно, чтобы образ ее, запечатленный в сердцах, зародил пламенную жажду любви и познания. Отныне звезда христианского бога померкла и стала клониться к закату. Смелые мореплаватели открыли страны, населенные многочисленными народами, которые не знали старого Иагве, и зародилось подозрение, что и сам он не знал их, ибо не дал им вести ни о себе, ни о своем искупителе-сыне. Один польский каноник доказал вращение земли, и тогда обнаружилось, что старый демпург Израиля не только не создал вселенной, но даже не подозревал об ее истинном устройстве. Произведения философов, ораторов, юристов, поэтов древности были извлечены из монастырской пыли и, переходя из рук в руки, привили человеческому уму любовь к мудрости. Наместник ревнивого бога — сам папа — не верил больше в того, кого представителем он был на земле. Он любил искусства и заботился лишь о собирании античных статуй да о возведении великолепных зданий, где применялись каноны Витрувия, восстановленные Браманте. Нам стало легче. Истинные боги, вы-

званные из долгого изгнания, снова возвращались на землю. Они обрели опять на ней храмы и алтари. Папа Лев, сложив к их ногам перстень, тройной венец и ключи, втайне курил им жертвенный фимиам. Уже Полигимния, опершись на локоть, вновь стала прясть золотую нить своих раздумий; уже в садах пристойные Грации, равно как Нимфы с Сатирами, водили хороводы; радость, наконец, возвратилась на землю. Но вот,—о несчастье, о злая судьба, о роковое событие!—немецкий монах, раздувшийся от пива и богословия, восстает против возрождающегося язычества, грозит ему, поражает его, один побеждает князей церкви и, подняв народы, вовлекает их в реформу, которая спасает то, что готово было погибнуть. Напрасно самые искусные из нас старались отвратить его от этого предприятия. Ловкий демон, именуемый на земле Вельзевулом, привязался к нему, то сбивая его с толку учеными возражениями, то изводя коварными шутками.

Упрямый монах запустил ему в голову чернильницей и продолжал свою унылую реформацию. О чем говорить дальше? Дюжий корабельщик починил, законопатил, сдвинул с мели корабль церкви, потерпевший крушение. Иисус Христос обязан этому расносоцу тем, что кораблекрушение было отсрочено более чем на десять веков, быть может. С тех пор дела пошли все хуже. За этим толстым капуцином, пьяницей и спорщиком, последовал длинный и тощий доктор из Женевы, преисполненный духом древнего Иагве и стремившийся вернуть мир к ужасным временам Иисуса Навина и судей израильских, холодный и неистовый маньяк, еретик, сжигавший еретиков, лютейший враг Граций.

Эти неистовые апостолы и их неистовые ученики вызывали даже в демонах, подобных мне,—в рогатых дьяволах,—сожаление о тех временах, когда сын царствовал вместе со своей девственной матерью над народами, ослепленными великолепием—каменным кружевом соборов, сверкающими розами витражей, ярко раскрашенными фресками, где разворачивались тысячи чудесных историй, богатой парчой, сияющей эмалью рак и дарохранилищ, золотом крестов и потиров, созвездиями свечей в тени сводов, гармоничным гулом органов. Все это не могло, конечно, сравниться с Парфеноном и Панафинеями, но это радовало глаз и сердце, ибо все же было красотою. А проклятые реформаторы не терпели ничего прельщающего и ласкающего взор. Поглядели бы вы, как они карабкались

черными роями на порталы, цоколи, покатые крыши и колокольни, разбивая своим бессмысленным молотком каменные изображения, высеченные демонами совместно с мастерами,—этих добродушных святых мужей и миловидных святых жен или трогательных идолов матери-девы, прижимающей к груди младенца. Ибо, правду сказать,



кое-что из ласкового язычества проникло в культ ревнивого бога. Эти чудовища-еретики искореняли идолопоклонство. Я и мои товарищи делали все возможное, чтобы воспрепятствовать их ужасной работе: я лично с наслаждением сбросил несколько дюжин этих людей с высоты порталов и галлерей на паперть, по которой растекся их мерзкий мозг.

Хуже всего было то, что и католическая церковь тоже реформировалась и стала злее, чем когда-либо. В ласковой французской

стране университетские богословы и монахи с неслыханной яростью ополчились на изобретательных демонов и ученых людей. Настоятель моего монастыря был одним из величайших противников просвещения. С некоторого времени мои ночные занятия стали беспокоить его, а может быть, он заметил копыта. Святоша обыскал мою келью, нашел там бумагу и чернила, недавно отпечатанные греческие книги и флейту Пана, висящую на стене. По этим приметам он признал во мне адского духа и бросил меня в темницу, где мне пришлось бы питаться хлебом отчаяния и водою горечи, если бы я поспешно не убежал через окно и не скрылся в лесах, среди Нимф и Фавнов.

Повсюду зажженные костры распространяли запах горелого мяса. Повсюду были муки, пытки, раздробленные кости и вырезанные языки. Никогда еще дух Иагве не внушал столь ужасных зверств. И все же люди не напрасно приподняли крышку античного саркофага и узрели Римскую Деву. Среди великого ужаса, когда паписты и реформаторы состязались между собою в насилиях и жестокостях, среди пыток, человеческий разум вновь обретал силу и мужество. Он дерзал смотреть в небеса, где видел не старого семита, опьяненного мстостью, но спокойную и сияющую Венеру Уранию.

Тогда зародился новый порядок вещей, тогда начались великие века. Не отрекаясь явно от бога предков, умы склонились перед его двумя смертельными врагами, Наукой и Разумом, и аббат Гассенди тихонько оттеснил бога в далекую пропасть первопричин. Благодетельные демоны, которые просвещают и утешают несчастных смертных, вдохновили гениальные умы того времени на создание всякого рода рассуждений, комедий и повестей, совершенных по мастерству. Женщины изобрели искусство разговора, дружеской переписки и учтивости; нравы приобрели утонченность и благородство, неведомые предыдущим векам. Один из лучших умов века Разума, любезный Бернье, как-то писал Сент-Эвремону: „Великий грех — лишать себя удовольствий“. Одной этой фразы достаточно, чтобы понять, насколько подвинулось вперед умственное развитие в Европе. Это не значит, что до той поры не было эпикурейцев, но раньше они были лишены того сознания своего гения, какое было у Бернье, Шапель или Мольера. Теперь даже церковники стали понимать природу. Расин, при всем своем ханжестве, знал не хуже

какого-нибудь физика-атеиста, вроде Ги-Патена, к каким состояниям органов нужно относить страсти, волнующие людей.

Даже в моем аббатстве, куда я вернулся после гонений и где нашли приют только невежды да тупицы, один молодой монах, менее невежественный чем другие, поделился со мной мыслью, что святой дух изъяснялся на плохом греческом языке с целью унижить ученых.

Тем не менее богословие и казуистика все еще свирепствовали в этом разумном обществе. Подле Парижа, в тенистой долине, появились отшельники, которых прозвали „Господами“; они считали себя учениками святого Августина и утверждали с почтенным упорством, что бог священного писания поражает боящегося его и шадит идущего против него, не считается с поступками людей и осуждает на гибель, когда ему заблагорассудится, самых верных своих слуг, ибо его правосудие не сходно с нашим и пути его неисповедимы. Как-то вечером я встретил одного из этих господ в саду, где он размышлял среди капустных и салатных грядок. Я склонил перед ним рогатый лоб и прошептал следующие дружелюбные слова:

— Да хранит вас, сударь, старый Иегова! Вы его хорошо знаете. О, как хорошо вы его знаете и как глубоко вы поняли его нрав!

Святой человек признал во мне падшего ангела, счел себя обреченным и тотчас же умер со страха.

Следующий век был веком философии. Дух исследования усилился, и почтение к авторитету утратилось; телесные подвиги ослабели, а разум приобрел новую силу. Нравы усвоили приятность, ранее неизвестную. Наоборот, монахи моего ордена становились все более невежественными и грязными, и теперь, когда учтивость воцарилась в городах, монастырь не представлял мне больше никаких выгод. Я не мог долее выносить этой жизни. Забросив рясу в крапиву, я натянул на рогатый лоб пудренный парик, прикрыл козлиные ноги белыми чулками и, с тростью в руке, набив карманы газетами, пустился в свет; я посещал модные места для прогулок, стал завсегдатаем кофейен, где собирались литераторы. Меня принимали в салонах, где в виде удачного новшества появились кресла, принимавшие форму зада, и где мужчины и женщины рассуждали весьма здраво. Даже метафизики выражались ясно. Я приобрел в

столице большой авторитет по части экзегетики и могу не хвалясь сказать, что не малая доля в завещании священника Мелье и в „Толковой Библии“, составленной капелланами прусского короля, принадлежит мне.

В это время старого Иагве постигла комическая и жестокая неудача. Какой-то американский квакер при помощи бумажного змея похитил у него молнию.

Я жил в Париже и был участником того ужина, на котором предлагали задушить последнего попа кишками последнего короля. Франция кипела; разразилась грозная революция. Минутные вожди опрокинутого государства господствовали путем террора, окруженные неслыханными опасностями. Они были, по большей части, менее суровы и беспощадны, чем те государи и судьи, которых утверждал Иагве на земные царства; но они казались более жестокими потому, что судили во имя человечества. К несчастью, их было легко разжалобить, и сами они отличались большой чувствительностью; а чувствительные люди всегда раздражительны и подвержены припадкам ярости. Они были добродетельны, обладали нравственными устоями, иначе говоря — понимали моральные обязанности вполне узко и судили человеческие поступки не по их естественным следствиям, но на основании отвлеченных принципов. Из всех пороков, способных погубить государственного мужа, самый опасный — добродетель: она толкает на преступление. Чтобы с пользой трудиться на благо человечества, надо быть выше всякой морали, как божественный Юлий. Бог, с некоторых пор подвергавшийся унижению, в общем не слишком пострадал от новых людей. Он нашел среди них покровителей, и ему стали поклоняться как верховному существу. Можно даже сказать, что террор отвлек людей от философии и послужил на пользу старому демиургу, который оказался представителем доброго порядка, общественного спокойствия, безопасности личности и имущества.

В то время как свобода рождалась в буре, я жил в Отейле и часто бывал у г-жи Гельведиус, где собирались люди, мыслявшие свободно обо всем. Это — явление редкое, даже после Вольтера. Человек, бестрепетно встречающий смерть, не всегда смеет высказать особое мнение о нравах. То самое чувство человеческого достоинства, которое ведет его на смерть, заставляет его склонять голову перед общественным мнением. Я наслаждался тогда беседами с Воль-

неем, Кабанисом и Траси. Эти ученики великого Кондильяка возводили к ощущению происхождение каждого нашего познания. Они называли себя идеологами, были достойнейшими людьми в мире и раздражали грубые умы, отказывая им в бессмертии. Ибо большинство людей, не зная, на что употребить эту жизнь, стремится к другой, да еще к бесконечной. В дни тревожений наше маленькое общество философов под мирной сенью Отейля не раз беспокоили патрули патриотов. Кондорсе, великий человек нашей среды, попал в роковые списки. Я сам казался подозрительным друзьям народа, которые, невзирая на мой деревенский вид и канифасовый кафтан, считали меня аристократом,— и, в самом деле, независимость мысли — самый гордый аристократизм.

Однажды вечером, когда я любовался в Булонском лесу дриадами, сверкавшими среди листвы, подобно луне, поднимающейся над горизонтом, меня арестовали как человека подозрительного и бросили в тюрьму. Это была простая ошибка; но тогдашние якобинцы, подражая монахам, монастырь которых они захватили, очень высоко ценили беспрекословное послушание. После смерти г-жи Гельвециус наше общество перешло в салон г-жи Кондорсе. Бонапарт не пренебрегал иной раз беседою с нами.

Признав в нем великого человека, мы думали, что он, как и мы, идеолог. Наше влияние в стране было довольно сильно. Мы употребили его в пользу Бонапарта и привели его к Империи, дабы явить миру нового Марка Аврелия. Мы рассчитывали, что он умиротворит вселенную; но он не оправдал наших ожиданий, и мы все винили его за собственную нашу ошибку.

Бесспорно, он намного превосходил других людей быстротой понимания, глубиной скрытности и способностью действовать. Его умение деликом жить данным мгновением, не думая ни о чем, кроме непосредственной и настоящей действительности, делало из него совершеннейшего властителя. Его гений был обширен и подвижен. Ум его, огромный по объему, но грубый и посредственный, охватывал все человеческое, однако не возвышался над ним. Он думал, как любой гренадер в его армии, но думал с неслыханной силой. Он любил игру случая, и ему нравилось искушать судьбу, бросая сотни тысяч пигмеев друг на друга,— забава ребенка, великого, как мир. Он был слишком осмотрителен, чтобы не вовлечь в эту игру старого Иагве, еще могущественного на земле и похожего на него духом на-

силы и властолюбия. Он грозил ему и ласкал его, льстил и запугивал. Он посадил в тюрьму его наместника и, приставив нож к горлу, потребовал помазания, дающего со времени древнего Саула королям силу. Он восстановил культ демиурга, служил ему мессы и заставил признать и себя земным богом в маленьких катехизисах, распространенных по всей империи. Оба соединили свои громы, что произвело не малый шум.

В то время как забавы Наполеона потрясали Европу, мы тешились своей мудростью, правда, несколько опечаленные тем, что эра философов началась избиениями, пытками и войнами. Хуже всего было то, что сыны века, впав в самое прискорбное расстройство, изобрели некое живописное и литературное христианство, доказывавшее поистине невероятную слабость ума, и, в конце концов, докатились до романтизма. Война и романтизм — ужасные бичи! Какое жалкое зрелище являют люди, питающие ребяческую и неистовую любовь к ружьям и барабанам! Они не понимают, что война, укрепляя сердца людей невежественных и диких и воздвигая им города, приносит победителям лишь разорение и несчастье и что теперь, когда народы связаны между собою общностью искусств, наук и торговли, она превратилась в бессмысленное и отвратительное преступление. О неразумные европейцы, замышляющие взаимное истребление, меж тем как единая цивилизация охватывает и объединяет их!

Я отказался от общения с этими безумцами; я удалился сюда, в деревню, где стал садовником. Персики в фруктовом саду напоминают мне золотящуюся на солнце кожу менад. Я сохранил к людям старую дружбу, немного восхищения и много жалости; обрабатывая этот клочок земли, я жду того еще далекого дня, когда великий Дионис, сопровождаемый своими фавнами и вакханками, научит вновь землю радости и красоте и вернет золотой век. Радостно пойду я за его колесницей. Но кто знает, увидим ли мы людей в этом грядущем торжестве? Кто знает, не выполнит ли к тому времени истощенный род людской свое назначение и не возникнут ли другие существа над пеплом и останками того, что было человеком и его гением? Кто знает, не завладеют ли земным царством существа крылатые? В таком случае, труд добрых демонов не будет еще закончен: они станут учить искусству и наслаждению птичий род“.

Глава XXII,

где описывается, как в антикварной лавке было нарушено преступное счастье папаша Гинардона ревностью женщины, охваченной великой любовью

Папаша Гинардон (как вполне верно доложила Зефирина г-ну Сарьетту) втихомолку увез картины, мебель и редкости, собранные им на чердаке по улице Принцессы, который он называл своей мастерской, и разместил все это в нанятой им лавочке на улице Курсель, где и поселился, оставив Зефирину после пятидесяти лет совместной жизни без матраца, без единой кастрюли, без единого су, если не считать франка и семидесяти сантимов, которые находились в кошельке бедной женщины. Папаша Гинардон открыл магазин старинных картин и редкостей, водворив там и молодую Октавию.

Витрина имела неплохой вид: там были фламандские ангелы в зеленых мантиях, в стиле Жерара Давида, „Саломея“ школы Лунни, святая Варвара — раскрашенная деревянная статуэтка французской работы, лиможские эмали, богемский и венецианский хрусталь, урбинские блюда; там же было и английское кружево, которое Зефирина в годы своей сияющей юности получила в подарок, если верить ей, от императора Наполеона III. В сумраке лавки блестело золото, там и сям выделялись христы, апостолы, патрицианки и нимфы. Одно полотно было повернуто к стене и предлагалось только взглядам знатоков, которые так редки. Это было повторение „Колечка“ Фрагонара, настолько свежей живописи, что она, казалось, не успела еще высохнуть. Это говорил и сам папаша Гинардон. Деревянный комод фиалкового дерева, в глубине лавки, скрывал в своих ящиках редкости, гуаши Бодуэна, книги с рисунками XVIII века, миниатюры.

На мольберте покоился завешенный шедевр, чудо, драгоценность, жемчужина, — Фра-Анжелико, очень нежный, в золотых, голубых и розовых тонах, — „Венчание пресвятой девы“, за которое папаша Гинардон просил сто тысяч франков. На стуле эпохи Людовика XV, перед рабочим столиком стиля амбир, с вазой для цветов, сидела за вышиванием юная Октавия, которая, оставив на чердаке улицы Принцессы свои яркие лохмотья, являла взорам уже не образ пожухлого

Рембрандта, но нежный блеск и прозрачность Вермеера Дельфтского, на радость знатокам, навещавшим папашу Гинардона. Тихая и скромная, она целыми днями сидела в лавке одна, меж тем как старик стряпал под крышей невесть какую живопись. К пяти часам он спускался вниз и беседовал с всегдашними посетителями.

Наиболее постоянным был граф Демезон, высокий, сухопарый, сутулый человек. Две прядки волос выбивались у него из глубоких впадин под скулами и, постепенно расширяясь, падали снежным потоком на подбородок и грудь. Он непрестанно погружал в него свою длинную высохшую руку в золотых кольцах. Оплакивая в течение двадцати лет жену, унесенную чахоткой в цвете молодости и красоты, он посвятил жизнь поискам средств общения с умершими и наполнению своего опустевшего особняка плохой живописью. Его доверие к папаше Гинардону было безгранично. Г-н Бланмениль, управляющий большим банком, появлялся в лавке не менее часто. Это был цветущий и плотный мужчина лет пятидесяти, мало интересующийся искусством и, вероятно, посредственно в нем разбирающийся, но привлеченный юной Октавией, которая сидела посреди лавки, как певчая птичка в клетке.

Г-н Бланмениль не преминул завязать с ней некоторые отношения, которых не замечал только папаша Гинардон по своей неопытности, ибо старик был еще молод в любви к Октавии. Г-н Гаэтан д'Эпарвьё заходил иногда к папаше Гинардону из любопытства, ибо подозревал его в изумительной подделке картин.

Г-н Ле-Трюк-де-Рюффек, этот великий человек дуэльных дел, явился однажды к старому антикварию и поделился с ним своими планами. Г-н Ле-Трюк-де-Рюффек устраивал в Малом Дворце историческую выставку холодного оружия в пользу „Воспитания юных марокканцев“ и просил папашу Гинардона одолжить ему несколько особенно ценных экземпляров из его коллекции.

— Мы думали было, — говорил он, — устроить выставку под названием „Крест и шпага“. Соединение этих двух слов хорошо выражало бы идею нашего начинания. Мысль, в высшей степени патриотическая и христианская, побуждала нас сочетать шпагу, символ чести, с крестом, знаком спасения. Мы рассчитывали обеспечить нашему предприятию высокое покровительство военного министра и монсеньера Каппо. Осуществление этого плана натолкнулось, к несчастью, на затруднения, и его пришлось отложить. В настоящее

время мы устраиваем выставку „Шпаги“. Я составил заметку, разъясняющую смысл данного выставления.

Сказав это, г-н Ле-Трюк-де-Рюффек вытащил из кармана бумажник, набитый листками, и разыскал среди всяких протоколов состоявшихся и несостоявшихся дуэлей исписанный вдоль и поперек клочок бумаги.

— Вот,— сказал он:— „Шпага—это суровая девственница. Она—подлинно французское оружие. В настоящее время, когда национальное чувство, после слишком продолжительного затмения, засияло пламеннее, чем когда-либо...“ и т. д. Вы чувствуете?..

И он опять повторил просьбу о каком-либо редком экземпляре, дабы поместить его на лучшем месте выставки, открываемой под почетным председательством генерала д'Эпарвьё в пользу юных марокканцев.

Папаша Гинардон чрезвычайно мало занимался оружием; он торговал преимущественно картинами, рисунками и книгами. Но его невозможно было застичнуть врасплох. Он снял со стены рапиру с ажурной чашкой эфеса, в ярко выраженном стиле Людовика XIII—Наполеона III, и протянул ее организатору выставки, который стал рассматривать ее с известным уважением, храня благоразумное молчание.

— Есть и кое-что получше,— сказал антикварий.

И он вытащил из чулана за лавкой валявшуюся среди тростей и зонтиков чертовски длинную шпагу, украшенную лилиями и поистине достойную королей: она принадлежала Филиппу-Августу в пьесе „Агнеса де-Мерани“, шедшей в 1846 году, и надевал ее некий актер Одеона. Гинардон держал ее острием вниз, дабы она выглядела крестом, и благоговейно сложил руки на рукоятке, приобрев вид столь же лойяльный, как сама шпага.

— Возьмите ее для вашей выставки,— сказал он.— Девственница стоит того. Она называется Бувина.

— Если я продам ее,—спросил Ле-Трюк-де-Рюффек, покручивая огромные усы,—дадите вы мне что-нибудь за комиссию?..

Несколько дней спустя папаша Гинардон с таинственным видом показал графу Демезону и г-ну Бланменилю новооткрытого Греко, изумительного Греко, последней манеры художника. Изображен был святой Франциск Ассизский, который, стоя на Алвернской скале, поднимался, как столб дыма, к небу и погружал в облака свою чудо-

вишно узкую голову, уменьшенную расстоянием. Словом, то был подлинный, самый подлинный, чересчур подлинный Греко. Оба любителя внимательно созерцали это произведение искусства, меж тем как папаша Гинардон восхвалял глубокие черные тона и величественную экспрессию картины. Он воздевал руки, чтобы изобразить, как Теотокопули, идущий от Тинторетто, превзошел учителя на сто локтей.

— Это был целомудренный, чистый, могучий, мистический, апокалиптический гений.

Граф Демезон заявил, что Греко — его любимый художник. Бланмениль, в душе, восхищался не столь безоговорочно.

Дверь отворилась, и г-н Гаэтан, которого никто не ожидал, появился на пороге.

Он взглянул на святого Франциска и сказал:

— Чорт возьми!

Г-н Бланмениль, желая поучиться, спросил, что думает он об этом художнике, которым сейчас так восхищаются. Гаэтан, не заставляя себя просить, ответил, что не считает Греко сумасбродом или сумасшедшим, как полагали прежде, и что скорее, по его мнению, некий дефект зрения, свойственный Теотокопули, заставлял его искажать изображение фигуры.

— Страдая астигматизмом и страбизмом,— продолжал Гаэтан,— он рисовал то, что видел, и так, как видел.

Граф Демезон не склонен был согласиться с таким естественным объяснением, которое, наоборот, понравилось своею простотою г-ну Бланменилю.

Оскорбленный Гинардон воскликнул:

— Уж не скажете ли вы, господин д'Эпарвье, что и святой Иоанн страдал астигматизмом, ибо он видел жену, облеченную солнцем и увенчанную звездами, с луной под ногами; зверя о семи головах и десяти рогах и семь ангелов в льняных одеждах, которые несли семь чаш, наполненных гневом бога живого?

— В конце концов,— заключил г-н Гаэтан,— есть все основания восхищаться Греко, поскольку у него хватило дарованья, чтобы заразить своим больным видением других. Вообще, выражение пытки, которое он придает человеческому лицу, способно удовлетворить людей, любящих страдание, а таких больше, нежели обычно полагают.

— Сударь,— заметил граф Демезон, поглаживая длинной рукой пышную бороду,— надлежит любить тех, кто нас любит. Сгрядание любит нас и неразлучно с нами. Надо любить его, дабы переносить жизнь; сила и благодеяние христианства заключаются в том, что оно это поняло... Увы, я лишен веры, и это приводит меня в отчаяние.

Старик вспомнил о той, кого он оплакивал уже двадцать лет; тотчас же разум его помутился, и мысль его без удержу отдалась фантазиям кроткого и грустного безумия.

Он стал рассказывать, как, изучив психические науки и запышась, при содействии весьма чуткого медиума, опытами над природой души и ее посмертным бытием, он добился изумительных результатов, которые, однако, его не удовлетворяли. Он уже достиг того, что видел душу умершей жены в виде студенистой и прозрачной массы, ничем не напоминавшей тела, которое он так обожал. Самое мучительное в таких опытах, повторявшихся сотни раз, заключалось в том, что студенистая масса, снабженная крайне тонкими щупальцами, постоянно двигала ими в каком-то ритме, повидимому, предназначенном для передачи знаков, понять смысл которых не было никакой возможности.

Во время этого рассказа г-н Бланмениль присоединился к юной Октавии, сидевшей тихо, молчаливо, опустив глаза.

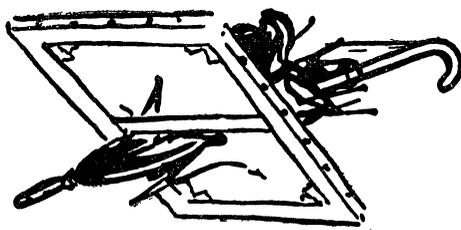
Зефирина не могла добровольно уступить своего возлюбленного недостойной сопернице. Часто по утрам она бродила вокруг антикварной лавки, с корзинкой на руке, в гневе и отчаянии, волнуемая самыми противоречивыми замыслами: она готова была то облить изменника серной кислотой, то броситься к его ногам, покрывая слезами и поцелуями обождаемые ею руки. Однажды, подстергая таким образом своего столь любимого и столь виновного Мишеля и глядя сквозь окно на юную Октавию, вышивавшую за столиком, на котором увядала роза в хрустальном бокале, она потеряла голову от ярости и ударила зонтиком по белокурой головке соперницы, обзвав ее сухой и падалью. Перепуганная Октавия побежала за полицией, меж тем как Зефирина, обезумев от горя и любви, обрабатывала железным наконечником старого зонта „Колечко“ Фрагонара, черного, как сажа, „Франциска Ассизского“ Греко, и святых дев, и нимф, и апостолов и, сбивая золото с Фра-Анжелико, кричала:

— Все эти картины: Греко, Беато-Анжелико, Фрагонар, Жерар Давид и Бодуэны,— да, да, и Бодуэны,— все, все это Гинардон

написал сам, жалкий негодяй! Этого Фра-Анжелико он писал на моей гладильной доске, а Жерара Давида на старой вывеске повивальной бабки!.. Свинья! Я еще искалечу тебя вместе с твоей нищенкой, как искалечила твои паршивые полотна.

И, вытаскивая за фалды какого-то старого любителя живописи, который дрожа забился в самый темный угол чулана, она призывала его в свидетели преступлений Гинардона, фальсификатора и клятвопреступника. Полиции пришлось силой увести ее из разгромленной лавки. По дороге к полицейскому комиссару, сопровождаемая целой толпой, она подымала к небу горящие глаза и восклицала сквозь рыдания:

— Вы не знаете Мишеля! Если бы вы знали его, вы бы поняли, что без него жизнь не в жизнь! Он прекрасный, добрый, очаровательный! Он бог, он сама любовь! Я люблю его! Люблю! Люблю! Я знавала высоких особ, герцогов, министров, даже еще повыше... Ни один не был достоин вычистить Мишелю башмаки. Ах, добрые мои господа, верните мне его!



Глава XXIII,

где обнаруживается изумительный характер Бушотты, сопротивляющейся насилию, но уступающей любви. Пусть не говорят после этого, что автор — женоненавистник

Выйдя от барона Макса Эвердингена, князь Истар отправился в кабачок на рынке — закусить устрицами и выпить бутылку белого вина. Так как осторожность сочеталась в нем с силой, он напра-

вился затем к своему другу Теофилю Беле, дабы спрятать у музыканта в шкафу бомбы, которыми у него были набиты карманы. Автора „Алины, королевы Голконды“ не было дома. Керуб застал Бушотту разучивающей перед зеркальным шкафом роль девчонки Зигуль, ибо молодая актриса должна была исполнять главную роль в оперетке „Апаши“, которую репетировали тогда в одном большом мюзик-холле. Она играла женщину, увлекающую непристойными жестами прохожего в ловушку и затем повторяющую с садической жестокостью перед несчастным, которому скрутили руки и заткнули рот, сладострастные призывы, прельстившие его. В этой роли она должна была показать себя и как певица, и как мимистка,—и она была в восторге.

Аккомпаниатор только что ушел. Князь Истар сел за рояль, и Бушотта вновь принялась за работу. Ее движения были непристойны и пленительны. На ней была только короткая юбка и рубашка, которая сползала с правого плеча и открывала подмышку, тенистую и заросшую, как священный грот Аркадии; ее волосы рассыпались во все стороны непокорными рыжими прядями, а влажная кожа издавала запах фиалок и щелочи, от которого трепетали ноздри и пьянела она сама. Внезапно, охмелев от аромата этого горячего тела, князь Истар поднялся и, не говоря ничего, даже глазами, схватил ее в охапку и бросил на диван, на маленький диванчик в цветах, который Теофиль купил в одном известном магазине, обязавшись вносить каждый месяц по десяти франков в течение многих лет. Керуб каменной глыбой упал на хрупкое тело; дыхание его издавало шум, подобно кузнечному межу, и огромные руки впились в тело, которое обнимали. Если бы Истар стал домогаться Бушотты, он склонил бы ее к мимолетному, но обоюдному объятию, ибо в том состоянии волнения и возбуждения, в каком она находилась, она не отказала бы ему. Но Бушотта была самолюбива; неприступная гордость пробуждалась в ней при первой попытке оскорбить ее. В ее характере было отдаваться, но не позволять брать себя насильно. Она легко уступала из любви, из любопытства, из жалости или чего-нибудь еще меньшего; но она предпочла бы умереть, нежели уступить силе. Ее изумление мгновенно перешло в гнев. Все ее существо восстало против насилия. Ногтями, которым ярость придала остроту, она исцарапала щеки и веки керуба; задыхаясь под горой этого тела, она так напрягала бедра, так пружинила локти

и колени, что отбросила быка в человеческом образе, ослепленного кровью и болью, прямо на роль, издавший протяжный стон, меж тем как бомбы вывалились из карманов керуба и с грохотом покатались по паркету. Бушотта, растрепанная, с голой грудью, прекрасная и грозная, кричала, размахивая кочергой над поверженным колоссом:

— Проваливай сейчас же! Не то я тебе выколою глаза!

Князь Истар умылся на кухне, окунув окровавленное лицо в миску, где мокла суассонская фасоль; затем он удалился без гнева и обиды, потому что душа у него была благородная.

Едва он вышел, как у двери раздался звонок. Бушотта тщетно принялась звать отсутствующую служанку, затем накинула капот и открыла сама. Весьма корректный и довольно красивый молодой человек вежливо поклонился ей, извинился за то, что принужден представиться сам, и назвал себя по имени. Это был Морис д'Эшарвье.

Морис без усталости искал своего ангела-хранителя. Поддерживаемый безнадежной надеждой, он искал его в местах весьма странных. Расспрашивал о нем колдунов, магов, всяких кудесников, которые в вонючих лачугах открывают неисповедимое грядущее и, будучи владыками всех земных сокровищ, ходят в протертых на задку штанах и питаются свиным студнем. Сегодня, посетив сначала в одном из закоулков Монмартра некоего служителя сатаны, занимавшегося черной магией и ворожбой, Морис отправился затем к Бушотте по поручению г-жи де-ла-Вердельер, которая, собираясь вскоре устроить бал в пользу охраны деревенских церквей, хотела, чтобы Бушотта, ставшая внезапно и неизвестно почему модной актрисой, выступила у нее.

Бушотта усадила гостя на диванчик в цветах и, по просьбе Мориса, села рядом с ним; отпрыск благородной семьи изложил невиде просьбу графини де-ла-Вердельер; этой даме особенно хотелось, чтобы Бушотта спела одну из своих апапских песенок, которыми так восхищалось светское общество; к сожалению, г-жа де-ла-Вердельер могла предложить лишь весьма скромный и не соответствующий таланту артистки гонорар, но ведь это было дело благотворительности...

Бушотта обещала свое участие и согласилась на умеренный гонорар с обычной щедростью бедных по отношению к богатым и артистов по отношению к людям светского общества; Бушотта

была бескорытна; дело охраны деревенских церквей было ей симпатично. Она всегда вспоминала со слезами и рыданиями свое первое причастие и до сих пор еще не утратила веры. Проходя мимо церкви, особенно по вечерам, она испытывала желание зайти туда. Поэтому она не любила республики, которая старалась разрушить церковь и армию. Ее сердце радовалось возрождению национального чувства. Франция расцветала, и в мюзик-холлах больше всего аплодировали песенкам про солдатиков и сестер милосердия. Тем временем Морис вдыхал благоухание ее рыжих волос, острый и тонкий аромат ее тела, соленый запах ее плоти, и в нем пробуждалось желание. Рядом с собою на маленьком диванчике он чувствовал ее, нежную и горячую. Он похвалил ее огромный талант. Она спросила, что ему больше всего нравится из ее репертуара. Он не имел о нем понятия; однако его ответы удовлетворили ее; сама того не замечая, она подсказала ему их; она расписывала свой талант и успехи так, как хотела бы, чтобы их расписывали другие. Она безумолку тараторила о своих триумфах; но в общем — с чисто сердечной наивностью. Морис искренне хвалил красоту Бушотты, свежесть ее лица, изящество фигуры. Она объясняла эти достоинства тем, что никогда не мажется; относительно своей фигуры, она предполагала, что у нее всего в меру, нет ничего лишнего, и, в подтверждение слов, провела рукой вдоль всего своего прелестного тела, слегка прижав, дабы можно было видеть изящество форм, на коих она сидела. Морис был этим весьма взволнован.

День утасал; она хотела зажечь свет, но он попросил не делать этого.

Беседа, вначале веселая и шутивная, постепенно стала интимной, нежной, слегка томной. Бушотте казалось, будто она знакома с г-ном Морисом д'Эпарвье уже давно, и, считая его порядочным человеком, она пустилась в откровенность. Она сказала, что по натуре была честной женщиной, но что мать у нее была жадная и бессовестная. Морис снова навел ее на мысль о ее собственной красоте и умелой лестью разжег ее восхищение собой. Терпеливо и с расчетом, несмотря на то, что внутри у него все горело, он заронил и постепенно усилил в соблазнительнице желание, чтобы ею восхищались еще сильнее. Капот, распахнувшись, соскользнул сам собой, и живой атлас плеч заблестел в таинственном полумраке вечера. Осторожностью, умением и ловкостью он довел ее до того,

что она, пылая и изнемогая, упала ему в объятия, даже не заметив, что, в сущности, не дала решительного согласия. Их дыхание и шопот слились. И диванчик в цветах замирал вместе с ними.

Когда чувства их вновь стали изъяснимы речью, она прошептала ему в грудь, что кожа у него еще нежнее, чем у нее.

Обнимая ее, он сказал:

— Как приятно сжимать тебя так. Кажется, будто у тебя нет костей.

Она ответила, закрыв глаза:

— Это потому, что я полюбила тебя. У меня от любви тают кости, я делаюсь совсем мягкая и растворяюсь, как телячьи ножки.

Вслед за этими словами вошел Теофиль, и Бушотта предложила ему поблагодарить г-на Мориса д'Эпарвье, который любезно передал ей весьма лестное предложение от имени графини де-ла-Вердельер.

После целого дня напрасных хождений, дурацких уроков, неудач и унижений музыкант был счастлив обрести домашний мир и тишину. Ему навязывали трех новых сотрудников, которые должны были вместе с ним поставить свое имя под опереткой и получить соответственную долю авторского гонорара; кроме того требовали, чтобы при голкондском дворе танцевали танго. Пожав руку молодого д'Эпарвье, он в изнеможении упал на диванчик, который на этот раз окончательно обессилел, все четыре ножки надломились, и он сразу рухнул. А ангел, поверженный на пол, с ужасом покатился на часы, зажигалку и портсигар, выскользнувшие из карманов Мориса, и на бомбы, принесенные князем Истаром.

Глава XXIV,

рассказывающая о превратностях судьбы, испытанных „Лукрециел“ приора Вандомского

Леже-Массье, преемник Леже Старшего, переплетчик с улицы Аббатства, живший напротив старого особняка аббатов Сен-Жермен-де-Пре, кишевшего детскими садами и учеными обществами, держал очень немногих, но превосходных мастеров и неспеша обслуживал своих старых клиентов, приученных им к терпению. Прошло уже полтора месяца с того дня, как он получил партию книг, при-

сланных г-ном Сарьеттом, но Леже-Массье еще не брался за них. Лишь по истечении пятидесяти трех дней, проверив книги по списку, составленному г-ном Сарьеттом, переплетчик распределил их между рабочими. Томик „Луcreция“ с гербом приора Вандомского не значился в перечне и потому сочли, что он принадлежит какому-



нибудь другому заказчику, а так как он не упоминался ни в одном из сопроводительных списков, его заперли в шкаф, откуда его как-то стащил и сунул в карман сын Леже-Массье, молодой Эрнест. Эрнест был влюблен в жившую по соседству белошвейку, по имени Роза. Роза любила природу, ей нравилось слушать пение птиц в рощах. Эрнест, чтобы иметь возможность свезти ее в воскресенье обедать в Шату, уступил „Луcreция“ за десять франков деду Моранже,

старьевщику с улицы Сент-Икс..., не слишком интересовавшемуся происхождением приобретаемых предметов. Дед Моранже в тот же день перепродал томик за шестьдесят франков г-ну Пуссару, мелкому книготорговцу из Сен-Жерменского предместья. Последний стер с титула штемпель, указывавший на происхождение несравненного экземпляра, и продал его за пятьсот франков г-ну Жозефу Мейеру, весьма известному любителю, немедленно отдавшему его за три тысячи франков г-ну Ардону, книготорговцу, который тотчас же предложил его парижскому библиофилу г-ну Р., уплатившему за него шесть тысяч и перепродавшему его через две недели, с изрядной прибылью, графине де-Горс. Эта дама, хорошо известная в высшем парижском обществе, была, как выражались в семнадцатом веке, „охоча“ до картин, книг и фарфора. В ее особняке на авеню Иены собраны коллекции предметов искусства, свидетельствующие о ее разнообразных познаниях и хорошем вкусе. В июле, когда графиня де-Горс находилась у себя в замке Сарвиль в Нормандии, ее опустевший особняк на авеню Иены посетил ночью вор, несомненно принадлежащий к шайке, которая прозывается „коллекционеры“ и специальностью которой является кража предметов искусства.

Согласно данным полицейского осмотра, злоумышленник взобрался по водосточной трубе во второй этаж, перелез на балкон и клещами открыл ставню, после чего, разбив стекло, поднял шпингалет и проник в большую галерею. Там, взломав несколько шкафов, он выбрал по своему вкусу несколько предметов, большею частью небольших размеров и ценных: золотые коробочки, вещицы из слоновой кости XIV века, два роскошных манускрипта XV века и книжку, которую секретарь графини кратко обозначил как „сафьян с гербом“ и которая была не чем иным, как „Лукрецием“ из библиотеки д'Эпарвье.

Преступника, в котором подозревали повара-англичанина, не разыскали. Но спустя месяца два после кражи эlegantный бритый молодой человек, проходя в сумерки по улице Курсель, предложил папаше Гинардону „Лукреция“ приора Вандомского. Антикварий заплатил ему сто су, рассмотрел книгу и, убедившись в ее ценности и красоте, спрятал в комод фиалкового дерева, где держал особо ценные вещи.

Таковы превратности судьбы, которые испытала за один сезон эта прелестная вещица.

Глава XXV,

в которой Морис находит своего ангела

После представления Бушотта разгримировывалась у себя в уборной. Ее старый покровитель, г-н Сандрак, тихонько вошел к ней, а вслед за ним потоком устремились поклонники. Не оборачиваясь, она спросила, чего ради они здесь, почему смотрят на нее, как болваны, и не воображают ли они, что находятся на ярмарке в Нейи, в балагане, где показывают чудищ: „Милостивые государины и милостивые государи, опустите десять сантимов в копилку, на приданое этой девице, и вы можете пощупать ей икры: прямо каменные!“

И, окинув столпившихся гневным взглядом, она крикнула:

— Ну, живо, вон отсюда!

Она отослала всех, даже друга сердца, Теофиля, бледного, косматого, кроткого, печального, близорукого и растерянного. Но, увидев своего милого Мориса, она улыбнулась. Он подошел к ней и, наклонившись над спинкой стула, на котором она сидела, стал расхваливать ее игру и голос, заключая каждый комплимент звуком поцелуя. Она, однако, не удовлетворялась этим, и путем повторных вопросов, настойчивых побуждений и притворного недоверия вызывала его на новые восторженные похвалы, два, три, четыре раза, причем, как только он замолкал, она делалась такой грустной, что он принужден был начинать сызнова. Ему приходилось трудно, так как в этом деле он не был знатоком, но зато он мог любоваться ее полными, округлыми плечами, золотившимися от света, и следить в туалетном зеркале за ее красивым лицом.

— Вы были обворожительны.

— Правда?.. Вы находите?

— Очаровательны, божест...

Внезапно он громко вскрикнул. Его глазам предстала в зеркале фигура, появившаяся в глубине уборной. Он быстро обернулся, заключил в объятия Аркадия и увлек его за собой в коридор.

— Ну, и манеры! — воскликнула возмущенная Бушотта.

Тем временем молодой д'Эпарвье тащил своего ангела к выходу, мимо труппы ученых собак и семейства американских акробатов,

Как только они очутились в тенистой прохладе бульвара, он заговорил, опьянев от радости и все еще не веря своему счастью:

— Вот и вы! Вот и вы! Я так долго искал вас, Аркадий, Мирар, или как вам угодно,— и вот, наконец, нашел! Аркадий, вы лишили меня ангела-хранителя, верните же мне его! Аркадий, любите ли вы меня еще?

Аркадий ответил, что для выполнения сверхангельской задачи, к которой он себя предназначил, он должен был попрасть дружбу, жалость, любовь и другие подобные чувства, размягчающие душу, но что, с другой стороны, в своем новом положении, подверженный страданиям и лишениям, он стал склонен к человеческой нежности и по инерции испытывает дружеское расположение к своему бедному Морису.

— Послушайте,— воскликнул Морис,— если вы хоть сколько-нибудь меня любите, вернитесь ко мне; будьте со мной! Я не могу обойтись без вас. Пока вы были подле меня, я не замечал вас, но стоило вам уйти, как я ощутил в себе ужасающую пустоту. Без вас я — как тело без души. Сказать вам правду,— даже в моей квартире на улице Рима, рядом с Жильбертой, я чувствую себя одиноким, тоскую по вас, мне хотелось бы вас видеть и слышать, как в тот день, когда вы так рассердили меня... Согласитесь, я был прав, и вы вели себя тот раз не так, как следовало бы человеку из порядочного общества. Вы, вы, существо столь высокого происхождения, столь благородного ума, допустили подобную бестактность... если подумать, это прямо невероятно! Госпожа дез-Обель вас до сих пор не простила. Она обвиняет вас в том, что вы ее напугали, когда появились так некстати, и что, застегивая ей платье и зашнуровывая ботинки, вы оскорбили ее нескромным поведением. Но я все забыл. Я помню только, что вы мой небесный брат, святой спутник моего детства. Нет, Аркадий, вы не должны, вы не можете отдаляться от меня. Вы — мой ангел, и принадлежите мне.

Аркадий объяснил молодому д'Эпарвье, что не может быть больше ангелом-хранителем христианина, так как сам он устремился в бездну. И он изобразил себя ужасным демоном, дышащим гневом и яростью, короче говоря,— адским духом.

— Все это глупости,— сказал Морис, улыбаясь, хотя глаза его наполнились слезами,

— Увы, мой юный Морис, убеждения, судьба — все разделяет нас. Но я не могу подавить в себе нежность, которую чувствую к вам, и душевная простота ваша вызывает во мне любовь к вам.

— Нет,— вздохнул Морис,— вы меня не любите! Вы никогда не любили меня. У брата или сестры такое равнодушие естественно,



у друга — обычно, но у ангела-хранителя оно — чудовищно. Аркадий, вы ужасное существо. Я вас ненавижу!

— Я нежно любил вас, Морис, люблю и сейчас. Вы смущаете мое сердце, которое я считал одетым тройной броней; вы открываете мне глаза на собственную мою слабость. Когда вы были невинным мальчиком, я вас любил столь же нежной, но более чистой любовью, чем мисс Кет, английская гувернантка, которая целовала вас с такой отвратительной чувственностью. В деревне, в то время года,

когда нежная кора платанов сходит длинными полосами, обнажая светлозеленый ствол, после дождей, покрывающих скаты дорог тонким песком, я учил вас делать из этого песка, полосок коры, полевых цветов и стеблей папоротника примитивные мостики, хижины дикарей, террасы и садики Адониса, существовавшие не больше часа. В мае месяце, в Париже, мы воздвигали алтарь деве Марии и жгли ладан, запах которого, распространяясь по всему дому, напоминал Марселине, вашей кухарке, деревню в родной деревне и потерянную невинность, вызывая у нее обильные слезы, а ваша мать, снедаемая при всем своем богатстве скукой, обычной для всех, кто счастлив на земле, страдала от него головными болями. Когда вы стали ходить в коллеж, я следил за вашими успехами; я разделял ваши труды и игры, я вместе с вами ломал голову над трудными арифметическими задачами, отыскивал сокровенный смысл какой-нибудь фразы из Юлия Цезаря. Сколько раз мы вместе бегали взапуски или играли в мяч! Не раз вы опьянялись победой, но наши юные лавры не были орошены ни слезами, ни кровью. Морис, я делал все, зависящее от меня, дабы уберечь вашу невинность, но я не мог воспрепятствовать тому, что вы лишились ее четырнадцать лет в объятиях горничной вашей матушки. Печалюсь, видел я, как потом вы любили женщин всякого общественного положения, различных возрастов и далеко не всегда красивых, по крайней мере, на взгляд ангела. Удрученный этим зрелищем, я предался науке; богатая библиотека доставила мне редкие возможности. Я углубился в историю религий; остальное — вам известно.

— Но теперь, дорогой Аркадий,— заключил молодой д'Эпарвье,— у вас нет ни положения в обществе, ни должности, ни каких бы то ни было средств к существованию. Вы деклассированы; вы празднопшатающийся; вы бродяга и нищий.

Ангел заметил не без едкости, что сейчас он одет все же немного лучше, чем когда на нем были лохмотья самоубийцы.

Морис привел в свое оправдание то, что он был очень сердит на неверного ангела в тот день, когда прикрыл его наготу лохмотьями самоубийцы. Но стоит ли вспоминать старое и упрекать друг друга,— не лучше ли подумать сообща о том, как быть дальше?

— Аркадий, что вы собираетесь делать?

— Разве я вам не говорил уже, Морис? Борьба с тем, кто царит на небесах, свергнуть его и посадить на его место сатану,

— Вы этого не сделаете! Прежде всего — сейчас не время. Общественное мнение против вас. Вы будете идти „не в ногу с веком“, как говорит папа. Теперь все стали консерваторами, все стоят за твердую власть. Все хотят, чтобы ими управляли, и президент республики скоро вступит в переговоры с папой. Не упрямитесь, Аркадий, вы не такой дурной, каким себя изображаете. В глубине души вы — как все: вы чтите господа бога.

— Мне кажется, я уже объяснил вам, милый Морис, что тот, кого вы почитаете за бога, в действительности — лишь демиург. Он ничего не знает о божественном мире, стоящем выше его, и в простоте душевной мнит себя единственным истинным богом. Из „Истории церкви“ монсеньера Дюшена, том I, страница 162, вы узнаете, что этот надменный и ограниченный демиург называется Иалдаваофом. Быть может, вы охотнее поверите историку церкви, чем вашему ангелу. А теперь я должен вас покинуть. Прощайте.

— Оставайтесь.

— Не могу.

— Я не отпущу вас так. Вы лишили меня ангела-хранителя — ваше дело исправить причиненный вами ущерб. Дайте мне другого.

Аркадий возразил, что не в силах удовлетворить подобное требование: поссорившись с верховным распределителем духов-хранителей, он ничего более не может от него добиться.

— Нет, милый Морис, — добавил он с улыбкой, — просите уже сами ангела у Иалдаваофа.

— Нет, нет, нет! Никакого Иалдаваофа не существует! — воскликнул Морис. — Вы отняли у меня ангела-хранителя, отдайте мне его.

— Увы, не могу!

— Аркадий, вы не можете сделать этого, потому что восстали?

— Да.

— Вы враг богу?

— Да.

— Сатанинский дух?

— Да.

— Хорошо же! — воскликнул молодой Морис. — В таком случае я буду вашим ангелом-хранителем. Я не оставлю вас.

И Морис д'Эпарье повел Аркадия в ресторан есть устрицы.

Глава XXVI

Совещание

В один прекрасный день восставшие ангелы были созваны Аркадием и Зитой на совещание в Жоншере, на берегу Сены, в заброшенном и обветшавшем театральном зале, снятом князем Истаром у трактирщика по имени Баратан. Триста ангелов теснились на скамьях и в ложах. На сцене, где свисали куски декораций сельского пейзажа, стоял стол, кресло и несколько стульев. Стены, на которых клеевой краской были намалеваны цветы и плоды, отсырели, потрескались и обваливались кусками. Неприкрытая нищета помещения еще сильнее оттеняла величие кипевших там страстей. Когда князь Истар предложил собранию наметить президиум и, прежде всего, выбрать почетного председателя, одно имя, облетевшее вселенную, пришло всем на мысль, но благоговейное почтение замкнуло уста. И после мгновенного молчания отсутствующий Нектарий был избран общими кликами без баллотировки. Аркадий, которого пригласили сесть в кресло между Зитой и японским ангелом, тотчас заговорил:

— Сыны неба! Товарищи! Вы освободились от небесного рабства; вы сбросили с себя ярмо того, кого именуют Иагве, но кому здесь мы должны вернуть его истинное имя Иалдаваофа, так как он вовсе не создатель миров, а лишь невежественный и жестокий демиург, который захватил ничтожную частицу Вселенной, посеяв в ней скорбь и смерть. Сыны неба, я спрашиваю вас, хотите ли вы бороться с Иалдаваофом и сокрушить его?

Единый голос, сливший все голоса, отвечивал:

— Хотим!

И многие, заговорив разом, клялись взобраться на гору Иалдаваофа, разрушить стены из яшмы и порфира и низвергнуть небесного тирана в вечную тьму.

Вдруг чистый, как кристалл, голос прорезал смутный гул:

— Безбожники, святотатцы, безумцы, трепещите! Господь уже занес над вами свою грозную длань.

То был верный ангел, который, в порыве веры и любви ревнуя к славе исповедников и мучеников, завидуя, как и его бог, красоте человеческого самопожертвования, проник в сборище богохульни-

ков, чтобы бросить им вызов, обличить их и погибнуть под их ударами.

Собрание обратило на него единодушный свой гнев. Стоявшие вблизи стали бить его.

Он же повторял бодрым и ясным голосом:

— Хвала богу! Хвала богу! Хвала богу!

Один из бунтовщиков схватил его за горло и пресек в его гортани хвалы господину. Его опрокинули, стали топтать ногами.

Князь Истар, подняв его, взял двумя пальцами за крылья, затем, поднявшись, как столб дыма, открыл форточку, до которой никому другому не достать бы, и выкинул в нее верного ангела. Порядок немедленно восстановился.

— Товарищи,— заговорил снова Аркадий,— теперь, когда мы подтвердили наше решение, надо изыскать способы действия и выбрать наилучшие. Вы должны обсудить, следует ли нам напасть на врага вооруженными силами или лучше привлечь на нашу сторону население неба длительной и упорной пропагандой.

— Война! Война!— закричало собрание.

Казалось, что уже слышатся звуки рожков и бой барабанов.

Теофиль, силой приведенный князем Истаром на собрание, поднялся, бледный, растерянный, и взволнованно заговорил:

— Братья, не поймите дурно моих слов. Их внушает мне дружба к вам. Я только бедный музыкант, но поверьте мне: ваши намерения еще раз разобьются о божественную мудрость, которая все предвидит.

Теофиль Беле сел под шиканье, и Аркадий снова заговорил:

— Иалдаваоф предвидит все, не спорю. Он предвидит все; но, чтобы сохранить нам свободную волю, он поступает с нами так, как если бы он ничего не предвидел. Все изумляет и сбивает с толку; события, даже вполне вероятные, застают его врасплох. Обязательство, которое он взял на себя,— согласовать свое предвидение со свободой воли людей и ангелов, постоянно ставит его в безвыходное положение и ужасные затруднения. Он никогда не видит дальше кончика своего носа. Он не ожидал неповиновения Адама и столь мало предвидел злобу людей, что потом, раскаявшись в их создании, утопил их в водах потопа вместе со всеми, ни в чем неповинными, животными. По слепоте его можно сравнить лишь с любимейшим его королем — Карлом X. Действуя с известной осторожностью, мы

легко застигнем его врасплох. Я надеюсь, что эти соображения способны успокоить моего брата.

Теофиль ничего не ответил. Он любил бога, но боялся участи верного ангела.

Один из самых образованных членов собрания, Маммон, не был окончательно убежден рассуждениями брата Аркадия.

— Подумайте вот о чем,— сказал этот дух.— Иалдаваоф вообще мало развит, но это — солдат до мозга костей. Организация рая — военная организация, построенная на иерархии и дисциплине. Пассивное повиновение считается там непреложным законом. Ангелы образуют армию. Сравните это с Елисейскими полями, как их описывает Вергилий. В Елисейских полях все свободно, разумно, мудро; счастливые тени мирно беседуют в миртовых рощах. На небе же Иалдаваофа нет штатского населения; все мобилизованы, занесены в списки, занумерованы. Это казарма и плац для маневров. Подумайте об этом!

Аркадий ответил, что противника нужно представлять в его истинном виде и что военная организация рая гораздо более напоминает деревушки короля Глегла, чем Пруссию Фридриха Великого.

— Уже во времена первого восстания,— сказал он,— до начала времен, битва продолжалась два дня, и престол Иалдаваофа заколебался. Правда, демиург одержал верх. Но чему был он обязан победой? Тому, что во время битвы случайно разразилась гроза. Молния, упав на Люцифера и его ангелов, низвергла их, обугленных и сокрушенных. Иалдаваоф обязан своей победой молнии. Молния — его единственное оружие. Он злоупотребляет им. Среди молний и раскатов грома возвестил он свой закон. „Пламя шествует перед ним“, — сказал пророк. Но философ Сенека сказал, что молния, падая, несет гибель немногим, но устрашает всех. Наблюдение это справедливо применительно к людям первого века христианской эры, но не к ангелам двадцатого века. То, что демиург, несмотря на свои громы, не особенно силен, доказывает ужасный страх, который вызвала в нем башня из необожженного кирпича и асфальта. Когда мириады небесных духов, снабженные орудиями, которые предоставляет в их распоряжение современная наука, начнут штурмовать небо,— неужели вы думаете, товарищи, что старый владыка солнечной системы, с верными ему ангелами, вооруженными как во времена Авраама, сможет

им противостоять? Воины демиурга до сих пор еще носят золотые шлемы и алмазные щиты. Михаил, лучший из его полководцев, не знает иной тактики, кроме единоборства. Он еще пользуется колесницами фараонов и ничего не слышал о македонской фаланге.

И молодой Аркадий продолжил долгую параллель между вооруженным стадом Иалдаваофа и сознательной революционной милицией. Затем перешли к обсуждению финансовых возможностей.

Зита заявила, что для начала войны денег достаточно, что электрофоры заказаны и что первая же победа откроет кредит.

Дебаты продолжались горячо и беспорядочно. В этом ангельском парламенте, как на человеческих собраниях, праздные слова лились обильно. По мере того, как приближалось голосование, расхождения становились все более частыми и шумными. Верховное командование без спора было передано тому, кто первый поднял знамя восстания. Но, так как всем хотелось быть ближайшими помощниками Люцифера, то каждый, рисуя тип полководца, которого следует предпочесть, давал свой собственный портрет. Таким образом, Алькор, самый юный из восставших ангелов, поспешил сказать следующее:

— К счастью, высшее командование в армии Иалдаваофа назначается по старшинству. Поэтому мало вероятно, чтобы оно было в руках грозных мастеров военного дела. Не долгое послушание обучает командованию и не усердие в мелочах подготавливает к общему руководству большим делом. Мы видим в древней и новой истории, что величайшими полководцами были короли, как Александр и Фридрих, аристократы, как Цезарь и Тюренн, или плохие военные вроде Бонапарта. Профессионал всегда окажется ничтожеством или посредственностью. Товарищи, изберем вождей развитых и во цвете лет. У старика может остаться привычка побеждать, но чтобы создать ее, нужно быть молодым.

Серафим-философ сменил Алькора на трибуне.

— Война,— сказал он,— никогда не была ни точной наукой, ни определенным искусством. Тем не менее гений расы или мысль человека проявлялись в ней. Но как определить качества, необходимые верховному главнокомандующему в будущей войне, где придется учитывать массы и движения в количестве большем, чем это может охватить ум человека? Все возрастающее обилие технических средств, бесконечно умножая причины ошибок, парализует гений вождей. На

известной ступени военного развития, которой почти уже достигли наши учителя-европейцы, полководец самый умный и полководец самый невежественный становятся равно бессильными. Другим результатом огромных современных вооружений является то, что закон чисел стремится управлять ими с непоколебимой строгостью. Несомненно, что десять восставших ангелов стоят больше, чем десять ангелов Иалдаваофа, но это вовсе не значит, что миллион восставших ангелов стоит больше, чем миллион ангелов Иалдаваофа. Большие числа в войне, как и всюду, сводят к нулю личное превосходство и ум в пользу, так сказать, коллективной души, крайне элементарной.

Шум разговоров покрыл голос ангела-философа, закончившего свою речь среди общего невнимания.

Затем трибуна огласилась призывами к оружию и обещаниями побед. Прославлялся меч, защищающий правое дело. Раз двадцать под аплодисменты иступленной толпы уже заранее прославлялась с трибуны победа восставших ангелов. Крики: „Да здравствует война!“ — неслись к безмолвным небесам.

Среди всеобщего возбуждения князь Истар взобрался на эстраду, и доски застонали под его тяжестью.

— Товарищи,— сказал он,— вы хотите победы, и ваше желание вполне естественно. Но, очевидно, вы отравлены литературой и поэзией, если ищете победы путем войны. Мысль о войне может придти сейчас в голову лишь отупевшим буржуа или запоздалым романтикам. Что такое война? Шуточный маскарад, приводящий по-дурацки в лирический экстаз патриотических гитаристов. Будь у Наполеона реальное понимание вещей, он не воевал бы; но это был мечтатель, опьяненный Оссианом. Вы кричите: „Да здравствует война!“ Вы мечтатели. Когда же поумнеете? Люди разумные не добиваются силы и власти при помощи разных выдумок, которые составляют военное искусство, разных тактик, стратегий, фортификаций, артиллерий и прочего вздора. Они не верят в войну, потому что это фантазия; они верят в химию, потому что это наука. Они владеют искусством заключать победу в алгебраическую формулу.

И, вытащив из кармана маленькую бутылочку, которую он показал собранию, князь Истар воскликнул с торжествующей улыбкой:

— Вот где победа!

Глава XXVII,

где раскрывается тайная и глубокая причина, весьма часто вызывавшая столкновения между империями, ведшая к разорению как победителей, так и побежденных, и где рассудительный читатель (буде таковой найдется, в чем я сомневаюсь) призадумается над метким изречением: „Война — это коммерческое предприятие“

Ангелы разошлись. Сидя на траве, у подножия Медонских холмов, Аркадий и Зита глядели на Сену, текущую среди ив.

— На этом свете,— сказал Аркадий,— на этом свете, называемом светом, хотя в нем гораздо меньше вещей светлых, чем беспросветных, ни одно мыслящее существо не решится представить себе, что оно может упразднить хотя бы один атом. Самое большее, на что мы можем рассчитывать, это — изменить там и сям движение нескольких групп атомов или расположение нескольких клеточек; этим, если вдуматься, и ограничится наш великий замысел. И если даже мы посадим Духа Противоречия на место Иалдаваофа, мы не достигнем большего... Скажите, Зита, заключено ли зло в самой природе вещей или в их распределении? Вот что следовало бы знать. Зита, мой дух смущен глубоко...

— Друг мой,— ответила Зита,— если бы для того, чтобы действовать, надо было познать тайну природы, никто бы не действовал. И никто не стал бы жить, ибо жить значит действовать. Аркадий, вы уже колеблетесь в решении?

Аркадий стал верить прекрасную архангельшу, что намерение его погрузить демиурга в вечную тьму непреклонно.

На дороге в облаке пыли появился автомобиль. Он остановился перед двумя ангелами, и крючковатый нос барона Эвердингена показался в дверце.

— Добрый день, небесные друзья мои, добрый день,— сказал капиталист, сын неба.— Я рад, что встретил вас. Мне необходимо дать вам важный совет. Не будьте инертны, не спите: вооружайтесь, вооружайтесь! Иалдаваоф может вас опередить. У вас есть военный фонд, расходуйте же его не стесняясь. Я узнал, что архангел Михаил сделал на небе большие заказы на молнии и громы. Если хотите послушаться меня, заготовьте еще пятьдесят тысяч электрофо-

ров. Я приму заказ. До свиданья, ангелы! Да здравствует небесная родина!

И барон Эвердинген умчался на цветущие берега Лувесьенна в обществе хорошенькой актрисы.

— Действительно ли демиург вооружается?— спросил Аркадий.

— Возможно,— ответила Зита,— что там, наверху, другой барон Эвердинген хлопочет о вооружениях.

Ангел-хранитель молодого Мориса на несколько мгновений погрузился в раздумье. Затем он прошептал:

— Неужели мы просто игрушки в руках финансистов?

— О чем говорить!— воскликнула прекрасная архангельша.— Война— это коммерческое предприятие. И всегда была предприятием.

Долго затем обсуждали они способы осуществить грандиозный замысел. Отвергнув с презрением анархические приемы князя Истара, они задумали неожиданно напасть на небесное царство с своей огромной воодушевленной и хорошо обученной милицией.

Бараттан, жоншерский трактирщик, сдавший возмущившимся ангелам театральный зал, был тайным полицейским агентом. В своем донесении префекту он указал на членов этого частного собрания, как на заговорщиков, подготовляющих покушение на некое лицо, которое они изображали весьма тупым и жестоким и именовали „Алавалоттом“. Агент предполагал, что под этим псевдонимом подразумевался либо президент республики, либо сама республика. Заговорщики единодушно произносили угрозы по адресу „Алавалотта“, а один из них, чрезвычайно опасный субъект, хорошо известный в анархических кругах, неоднократно уже подвергавшийся карам за свободолобивые речи и писания и именующий себя князем Истаром, или „Керубом“, размахивал бомбой очень малого калибра, но, повидимому, ужасающей силы. Другие заговорщики были незнакомы Бараттану, хотя он и вращался в революционных кружках. Многие из них были еще совсем юные, безбородые. Двоих, державших особенно пылкие речи, он выследил: одного звали Аркадием, и он проживал на улице Сен-Жак, а другая была женщина, по имени Зита, особа своеобразных нравов, жившая на Монмартре, причем оба существовали неизвестно на какие средства.

Дело показалось префекту полиции настолько серьезным, что он счел необходимым прежде всего снестись с председателем совета министров.

То был как раз один из тех климактерических периодов Третьей республики, когда французский народ, влюбленный в сильную власть, считал, что погибает, так как им недостаточно круто управляют, и громко призывал спасителя. Председатель совета, министр юстиции, не желал ничего лучшего, как быть этим ожидаемым спасителем. Но чтобы стать им, необходимо было наличие какой-либо опасности, дабы предотвратить ее; таким образом известие о заговоре было ему на руку. Он спросил префекта полиции о характере дела и степени его серьезности. Префект полиции сообщил, что, повидимому, у этих людей есть деньги, энергия и ум, но что они слишком много болтают и слишком многочисленны, дабы действовать тайно и согласно. Министр задумался, откинувшись на спинку кресла. Бюро в стиле ампир, перед которым он сидел, старинные ковры, покрывающие стены, часы и канделябры эпохи Реставрации — все в этом традиционном кабинете внушало великие принципы управления, остающиеся неизменными при чередовании режимов: хитрость и смелость. После краткого размышления он решил, что заговору нужно дать разрастись и оформиться, что, быть может, следует даже раздуть его, приукрасить, расцветить — и задуть лишь тогда, когда из него будет извлечена вся возможная выгода.

Он предписал префекту полиции следить внимательно за делом и ежедневно докладывать ему о ходе событий, ограничиваясь ролью осведомителя.

— Я полагаюсь на ваше благоразумие, хорошо мне известное; наблюдайте и не вмешивайтесь.

И министр закурил папиросу. Он рассчитывал при помощи этого заговора победить оппозицию, укрепить свою власть, опередить коллег, посрамить президента республики и стать ожидаемым спасителем.

Префект полиции обещал выполнить министерские указания, решив про себя поступать по собственному усмотрению. Он велел следить за лицами, указанными Бараттаном, и предписал агентам не вмешиваться в дело ни под каким видом. Заметив, что за ним следят, князь Истар, соединявший осторожность с силой, извлек из жолоба на крыше все бомбы, которые туда засунул, и, пересаживаясь с автобуса на метро и с метро на автобус, окружным путем пробрался к ангелу-музыканту, чтобы спрятать у него снаряды.

Аркадий, выходя из дому на улице Сен-Жак, каждый раз встречал у дверей подчеркнуто эlegantного господина в желтых перчатках, с бриллиантом больших размеров, чем „регент“, в галстукe. Равнодушный к земным делам, восставший ангел не обращал внимания на эти встречи, но молодой Морис д'Эпарвье, вменивший себе в обязанность охранять своего ангела-хранителя, с беспокойством смотрел на этого джентльмена, еще более упорного и бдительного, чем г-н Миньон, который когда-то бросал испытующие взоры вдоль улицы Гарансьер от бараньих голов особняка де-ла-Сордьер до абсиды церкви святого Сульпиция. Морис по два-три раза на день навещал Аркадия в меблированных комнатах, где тот проживал, предупреждал его об опасности и торопил переменить квартиру.

Каждый вечер он водил своего ангела по ночным кабакам, где они ужинали с девицами. Там молодой д'Эпарвье делился своими прогнозами насчет ближайшего матча бокса, а затем принимался доказывать Аркадию существование бога, необходимость религии и красоту христианства, умоляя его отказаться от преступных и нечестивых намерений, которые принесут ему лишь горькое разочарование.

— Ведь, в конце концов,—говорил юный апологет,—если бы христианство было ложью, все бы уже знали об этом.

Девиды одобряли Мориса за его религиозные чувства, и когда красавец Аркадий произносил какое-нибудь богохульство на понятном им языке, они затыкали уши и требовали, чтобы он замолчал, из страха, как бы бог не поразил громом заодно с ним и их, полагая, что господь в своем всемогуществе и высшей благодати, мстя внезапно за оскорбление, вполне способен без злого умысла покарать вместе с виновным и невинного.

Иногда ангел и его хранитель отправлялись поужинать к ангелу-музыканту. Морис время от времени вспоминал, что он любовник Бушотты, и с неудовольствием смотрел на то, как Аркадий позволял себе с певицей чрезмерные вольности. Она их допускала с того дня, как они соединились на диванчике в цветах, немедленно после того, как ангел-музыкант починил его. Морис, сильно любивший г-жу дез-Обель, слегка любил Бушотту и слегка ревновал ее к Аркадию, а ревность,—чувство, свойственное и людям, и животным,—причиняет, даже когда она легка, жгучую боль. Поэтому, догадываясь об истине, которая в достаточной мере вытекала из тем-

перамента Бушотты и характера ангела, он осыпал Аркадия насмешками, укорами и упрекал его в безнравственности. Аркадий спокойно возражал, что трудно подчинить физиологические потребности вполне точным правилам и что моралисты всегда наталкивались на большие затруднения в вопросе о некоторых видах секреции.

— В общем,— заключил Аркадий,— я охотно признаю, что почти невозможно построить систему естественной морали. Природа лишена принципов. Она не дает нам никаких оснований считать, что человеческая жизнь есть нечто почтенное. Природа, в своем равнодушии, не различает добра и зла...

— Вы теперь сами видите,— вставил Морис,— что религия необходима.

— Нравственность, якобы данная путем откровения,— сказал ангел,— в действительности создана грубейшим эмпиризмом. Нравами управляет только обычай. То, что предписывает небо, является просто освящением старых привычек. Божественный закон, воздвигаемый среди фейерверка на том или другом Синае, всегда не что иное, как кодификация человеческих предрассудков. А так как нравы меняются, то и многовековые религии, как иудо-христианство, меняют свою мораль.

— Но,— сказал Морис, который умственно развивался прямотаки на глазах,— вы согласитесь со мною, что религия весьма предохраняет от беспорядков и преступлений?

— Если только она не вызывает их сама; пример — убийство Ифигении.

— Аркадий,— воскликнул Морис,— когда я слушаю ваши рассуждения, я радуюсь, что я не ученый человек.

Тем временем Теофиль, склонив над роялем закрытое длинным покрывалом белокурых волос лицо и высоко поднимая над клавишами вдохновенные руки, разыгрывал и пел свою „Алину, королеву Голконды“, всю подряд.

Князь Истар заходил на эти дружеские собрания, набив карманы бомбами и бутылками шампанского; и тем, и другим он был обязан щедрости барона Эвердингена. Бушотта с удовольствием принимала керуба с тех пор, как имела в его лице свидетеля и трофей победы, одержанной ею на диванчике в цветах. Он был для нее чем-то вроде отсеченной головы Голиафа в руке юного Давида.

Она восхищалась искусством князя аккомпанировать, его мощью, побежденной ею, и его изумительной способностью пить.

Однажды ночью молодой д'Эпарвье провожал в автомобиле ангела от Бушотты в меблированные комнаты на улице Сен-Жак. Небо было темное; перед дверью дома сиял, как маяк, бриллиант сыщика; три велосипедиста, собравшиеся под его лучами, при приближении автомобиля поспешно удалились в разных направлениях. Ангел не обратил на это внимания, но Морис понял, что каждый шаг Аркадия интересует некоторых влиятельных лиц государства. Он подумал, что опасность назрела,— решение было принято немедленно.

На следующее утро он явился за подозреваемым, дабы отвести его на улицу Рима. Ангел был еще в постели. Морис стал торопить его скорее одеваться и идти за ним.

— Спешим,—сказал он.— Этот дом уже небезопасен для вас. За вами следят. Не сегодня-завтра вас арестуют. Есть у вас желание почевать в тюрьме? Нет? В таком случае, идем. Я помещу вас в надежное место.

Дух с легким сожалением улыбнулся своему наивному спасителю.

— Разве вы не знаете,—сказал он,— что ангел разбил двери тюрьмы, где был заключен апостол Петр, и освободил его? Или вы, молодой Морис, думаете, что я слабее своего небесного собрата и не могу сделать для себя того, что он сделал для рыбака с Тивериадского озера?

— Не рассчитывайте на это, Аркадий. Он сделал это при помощи чуда.

— Или „каким-то чудом“, как выразился один современный историк церкви. Впрочем, пусть так. Я следую за вами. Дайте мне только сжечь кое-какие письма и забрать нужные мне книги.

Он бросил бумаги в камин, засунул несколько томов в карманы и пошел вслед за своим вожатым к автомобилю, ожидавшему их неподалеку, перед Коллеж-де-Франс. Морис сел за руль. Подражая в осторожности керубу, он сделал столько зигзагов, объездов и стремительных поворотов, что мог бы сбить со следа всех велосипедистов, пустившихся в погоню, сколь бы многочисленны они ни были. Наконец, исколесив город по всем направлениям, он остановился перед той квартирой, на улице Рима, в нижнем этаже, где некогда явился ему ангел.

Входя в помещение, откуда он вышел полтора года назад, дабы выполнить свою миссию, ангел вспомнил невозвратное прошлое, и, когда он вдохнул аромат Жильберты, ноздри его затрепетали. Он спросил, как поживает г-жа дез-Обель.

— Очень хорошо,— ответил Морис.— Она немного пополнела и очень похорошела. Она все еще сердита на вас за вашу нескромность. Надеюсь, что через некоторое время она простит вас, как простил я, и забудет ваше оскорбительное поведение. Но сейчас она еще очень сердится на вас.

Молодой д'Эпарвье предоставил квартиру в распоряжение ангела с любезностью благовоспитанного человека и с нежной заботливостью друга. Он показал ему складную кровать, которую каждый вечер будут раскладывать в первой комнате, а утром прятать в темный чулан; он показал ему туалетный столик с прибором, ванну, бельевой шкаф и комод; дал ему необходимые указания относительно отопления и освещения; предупредил, что обед и завтрак приносит привратник, который вообще ведет его хозяйство, и показал кнопку, на которую надо нажать, дабы вызвать этого служителя; наконец, он попросил его чувствовать себя, как дома, и принимать, кого ему вздумается.

Глава XXVIII,

посвященная тягостной семейной сцене

Пока возлюбленными Мориса были только порядочные женщины, его поведение не давало повода к упрекам. Дело пошло иначе, когда он стал посещать Бушотту. Мать, закрывавшая глаза на его прежние связи, по правде сказать, непозволительные, но элегантные и пристойные, была возмущена, узнав, что ее сын появляется на людях с певичкой. Берта, младшая сестра Мориса, знала назубок, как катехизис, похождения брата и рассказывала о них без возмущения юным приятельницам. Маленький Леон, которому только что исполнилось семь лет, заявил однажды матери, в присутствии нескольких дам, что, когда он вырастет, то будет кутить так же, как Морис. Материнское сердце г-жи Рене д'Эпарвье было уязвлено.

В то же самое время одно серьезное домашнее происшествие встревожило г-на Рене д'Эпарвье. Ему были представлены векселя,

которые Морис подписал его именем. Почерк не был подделан, но намерение выдать подпись сына за подпись отца было очевидно; это был моральный подлог. Из этого случая явствовало, что Морис вел беспорядочную жизнь, делал долги и мог вот-вот пойти на неблагоприятный поступок. Отец семейства держал по этому поводу совет с супругой. Было решено, что он сделает сыну суровое внушение и пригрозит ему строгими мерами, а через несколько минут появится мать, огорченная и нежная, чтобы склонить к милосердию справедливый гнев отца. Приняв такое решение, г-н Рене д'Эпарвье на следующее утро вызвал сына к себе в кабинет. Для вящей торжественности он надел сюртук. Морис по этому признаку понял, что разговор будет серьезный. Глава семейства, немного бледный, неуверенным голосом (он был застенчив) заявил, что не потерпит дольше того беспутства, в котором живет его сын, и что требует немедленной и решительной перемены. Довольно кутежей, долгов, дурной компании: нужна работа, правильная жизнь, хорошие знакомства.

Морис охотно ответил бы почтительно отцу, который, в сущности, делал ему справедливые упреки, но, к несчастью, Морис тоже был застенчив, а сюртук, в который облекся г-н д'Эпарвье, чтобы с большим достоинством выполнить дело домашнего правосудия, исключал, повидимому, всякую сердечность. Морис хранил неловкое молчание, которое казалось дерзким. Это молчание принудило г-на д'Эпарвье повторить свои упреки в более суровой форме. Он открыл ящик исторического бюро (того самого, на котором Александр д'Эпарвье написал свой „Опыт о гражданских и религиозных учреждениях народов“) и вынул из него векселя, подписанные Морисом.

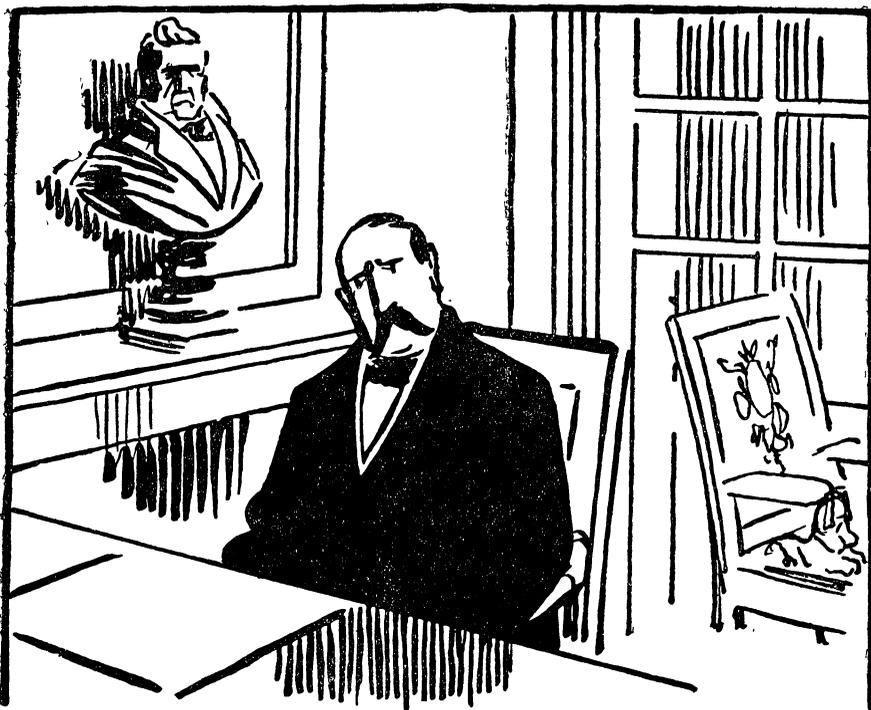
— Знаешь ли ты, дитя мое,— сказал он,— что ты совершил настоящий подлог? Чтобы искупить столь тяжкую вину...

В этот момент, как было условлено, г-жа Рене д'Эпарвье в выходном туалете показалась в дверях. Она должна была олицетворять ангела всепрощения. Но для этого она не подходила ни по внешности, ни по характеру. Она была женщиной мрачной и черствой. У Мориса были в зародыше все обычные необходимые добродетели. Он любил и уважал мать. Он любил ее больше по долгу, чем по влечению, и уважал ее больше по привычке, чем по чувству. У г-жи Рене д'Эпарвье была краснота на лице, а так как она напудрилась, чтобы предстать на домашнем судилище во всей красе, то цвет ее лица напоминал малину в сахаре. Морис, обладавший вкусом,

не мог не найти ее безобразной и даже несколько отталкивающей. Он был настроен против нее, и, когда она с еще большей силой подхватила упреки, которыми уже осыпал его отец, блудный сын отвернулся, чтобы скрыть от нее свое раздраженное лицо.

Она продолжала:

— Твоя тетка де-Сен-Фен встретила тебя на улице в такой дурной компании, что была рада тому, что ты ей не поклонился.



При этих словах Морис вспыхнул:

— Моя тетка де-Сен-Фен! Кому, как не ей, приходится в негодование! Весь свет знает, что она развратничала всю свою жизнь, и теперь эта старая ханжа хочет...

Он остановился. Его взгляд упал на лицо отца, которое выражало скорее печаль, чем негодование. Морис раскаивался в своих словах, как в преступлении, и не понимал, как могли они у него

вырваться. Он готов был расплакаться, упасть на колени, умолять о прощении, но тут мать, подняв глаза к потолку, со вздохом воскликнула:

— И чем не угодила я господу богу, что он дал мне такого беспутного сына!

Задетый за живое этими словами, которые казались ему деланными и смешными, Морис сразу перешел от горького раскаяния к сладостной горести преступления. Он отдался порыву дерзости и возмущения и залпом выпалил слова, которых не должна была бы слышать ни одна мать.

— Уж если говорить по-настоящему, мама, то вместо того, чтобы запрещать мне бывать у бескорыстной и талантливой лирической актрисы, вы бы лучше не позволяли моей старшей сестре, г-же де-Маржи, показываться каждый вечер в обществе и в театре с презренным и отвратительным субъектом, который всем ведом как ее любовник. Не мешало бы вам также лучше следить за моей младшей сестрой Жанной, которая пишет сама себе непристойные письма, изменяя почерк, а потом делает вид, будто находит их у себя в молитвеннике, и передает вам с невинным видом, дабы вас разогорчить и встревожить. Было бы не плохо также запретить моему семилетнему брату Леону обращаться с такой жестокостью с мадемуазель Капораль; и следовало бы заметить вашей горничной...

— Ступайте вон, я выгоняю вас из дома! — воскликнул г-н Рене д'Эпарвье, побледнев от гнева и указывая дрожащим пальцем на дверь.

Глава XXIX,

где обнаруживается, что ангел, став человеком, ведет себя по-человечески, то есть желает жены ближнего своего и предаст друга. Эта же глава покажет безупречное поведение молодого д'Эпарвье

Новая квартира понравилась ангелу. Он работал по утрам, выходил после полудня, презирая сыщиков, и возвращался ночевать домой. Как и раньше, Морис принимал г-жу дез-Обель два-три раза в неделю в той комнате, где произошло чудесное явление.

Все шло хорошо до одного прекрасного утра, когда Жильберта, забывшая накануне вечером бархатную сумочку на столе в голубой комнате, пришла за ней и застала Аркадия, который, лежа в пижаме на кушетке, покуривал папиросу и размышлял о завоевании неба. Она громко вскрикнула:

— Это вы!.. Если бы я знала, что встречу вас здесь, поверьте, я бы.. Я пришла за сумочкой, оставленной в соседней комнате.. Разрешите..

И она прошла мимо ангела осторожно и быстро, как мимо пылающего костра.

Г-жа дез-Обель в костюме тальер цвета резеды была неподражаемо очаровательна. Узкая юбка обрисовывала ее движения, а каждый шаг был одним из тех чудес природы, которые порождают изумление в сердцах мужчин.

Она появилась вновь, с сумочкой в руках.

— Еще раз прошу извинения. Я никак не подозревала..

Аркадий попросил ее присесть и провести с ним минуту.

— Я не ожидала, сударь,— сказала она,— что вы будете принимать меня тут, в этой квартире. Я знала, как сильно любит вас господин д'Эпарье, и все же была далека от мысли..

Погода внезапно испортилась. Комната наполнилась рыжеватым сумраком. Г-жа дез-Обель сказала, что пришла ради моциона пешком, а сейчас надвигается гроза. И спросила, нельзя ли послать за извозчиком.

Аркадий бросился к ногам Жильберты, обнял ее как драгоценную вазу. и стал говорить ей слова, хотя и бессмысленные сами по себе, но выражавшие желание. Она закрыла ему рот и глаза руками, воскликнув:

— Я вас ненавижу!

И, вздрагивая от рыданий, попросила стакан воды. Она задыхалась. Ангел помог ей расстегнуть платье. В эту минуту крайней опасности она мужественно защищалась.

Она говорила:

— Нет, нет!.. Я не хочу любить вас: я могла бы вас слишком полюбить..

Тем не менее она уступила.

В минуту нежной близости, которая последовала за взаимным удивлением, она сказала:

— Я часто спрашивала о вас. Я знала, что вы бываете в кабачках Монмартра, что вас часто можно встретить с мадемуазель Бушоттой, хотя она совсем не красива, что вы сделались чрезвычайно элегантным и зарабатываете много денег. Это меня не удивило. Вы созданы для успеха... В день вашего...

Она показала пальцем на угол между окном и зеркальным шкафом.

— ...Появления я рассердилась на Мориса за то, что он дал вам лохмотья какого-то самоубийцы. Вы мне понравились... О, совсем не вашей красотой. Не верьте, что женщины настолько чувствительны к внешним достоинствам, как об этом говорят. Мы ищем в любви другого. Не знаю, как это назвать... Словом, я вас сразу полюбила. Сумрак становился все гуще.

Она спросила:

— Ведь правда же, вы не ангел? Морис верит в это, но Морис верит в столько вещей...

Она спрашивала Аркадия взглядом, и глаза ее лукаво улыбались.

— Сознайтесь, что вы над ним подшутили и что вы — не ангел?

Аркадий ответил:

— Я хочу только одного: нравиться вам. Я буду всегда тем, чем вы захотите.

Жильберта решила, что он не ангел, во-первых, потому, что ангелом быть нельзя, а во-вторых, по причинам более специального свойства, которые вернули ее к делам любви. Он не противоречил, и им еще раз нехватило слов для выражения своих чувств.

На улице дождь падал тяжело и часто, вода стекала по окнам, молния осветила тюлевые занавески, гром потряс стекла. Жильберта перекрестилась и прижалась к груди возлюбленного.

Она сказала:

— Ваша кожа белее моей.

В тот момент, когда г-жа дез-Обель произносила эти слова, Морис вошел в комнату. Он явился, улыбающийся, доверчивый, спокойный и счастливый, спеша сообщить Аркадию, что они взяли двенадцатикратную ставку, которую пополам поставили накануне в Лоншане.

Застав женщину и ангела в любовном беспорядке, он расвирепел. Мускулы у него на шее напряглись от ярости, кровь залила побагровевшее лицо, а жилы вздулись на лбу. Он бросился со сжатыми кулаками на Жильберту, но внезапно остановился.

Задержанное движение перешло в теплоту: от Мориса шел пар. Гнев не вооружил его, подобно Архилоху, мстительным лиризмом. Он только назвал изменницу стельной коровой.

Тем временем, вместе с порядком в костюме, она восстановила и прежнее свое достоинство. Она поднялась, исполненная стыдливости и грации, и обратила к обвинителю взор, выражавший одновременно и оскорбленную добродетель и всепрощающую любовь.

Но так как молодой д'Эпарвье не переставая осыпал ее грубой бранью, то рассердилась и она:

— Ну, и вы тоже, хорош гусь! Я что ли ловила его, вашего Аркадия? Сами вы привели его сюда, да ещё в каком виде!.. У вас было только одно на уме: передать меня вашему другу. Так нет же, можете быть уверены, этого удовольствия я вам не доставлю!

Морис д'Эпарвье ответил ей просто:

— Убирайся вон, дура!

И он сделал вид, что выталкивает ее ногою за дверь. Аркадию было неприятно, что с его возлюбленной обращаются так недостойно; но он не чувствовал себя достаточно уверенным, чтобы сделать замечание Морису. Г-жа дез-Обель с полным достоинством устремила на молодого д'Эпарвье повелительный взгляд и сказала:

— Позовите мне извозчика!

И такова власть женщины над порядочным человеком, принадлежащим к галантной нации, что этот молодой француз тотчас же послал привратника за такси. Г-жа дез-Обель удалилась, окинув Мориса презрительным взглядом, как и подобает женщине глядеть на того, кого она обманула; выходя, она постаралась придать всем своим движениям чарующую прелесть. Морис смотрел, как она удаляется, с выражением безразличия, которого, однако, не испытывал. Потом он повернулся к ангелу, одетому в пижаму с цветочками, ту самую, которая была на Морисе в день явления, и это обстоятельство, само по себе незначительное, усилило обиду хозяина, столь недостойно обманутого.

— Превосходно! — сказал он. — Вы можете похвалиться своей подлостью. Вы поступили низко; и, кстати сказать, совершенно напрасно. Если эта женщина вам правила, стоило только мне сказать. Мне она надоела. Меня она больше не влечет. Я бы охотно вам ее уступил.

Он говорил так, чтобы скрыть боль, так как любил Жильберту больше, чем когда-либо, и ее измена причиняла ему большое страдание. Он продолжал:

— Я сам хотел просить вас избавить меня от нее, но вы поддались своей подлой натуре и поступили по-свински.

Произнеси Аркадий в эту торжественную минуту хоть одно слово, исходящее от сердца,— и Морис, разрыдавшись, простил бы друга и возлюбленную, и все трое были бы довольны вновь и счастливы.

Но Аркадий не был вскормлен молоком человеческой нежности. Он никогда не страдал и не умел сочувствовать страданиям. Он ответил с холодным благоразумием:

— Мой милый Морис, необходимость, которая определяет и связывает поступки одушевленных существ, приводит к результатам часто неожиданным, а иногда и нелепым. Таким образом и я принужден был причинить вам неприятность. Вы не укоряли бы меня, если бы были знакомы с натуральной философией; тогда бы вы знали, что воля—только иллюзия, что физиологическое сродство определено столь же точно, как химические соединения, и может быть выражено подобными же формулами. Я думаю, что вас можно привести к пониманию этой истины; но это было бы долго и трудно и, быть может, не вернуло бы вам того спокойствия, которое вы теряете. А потому мне надлежит покинуть это место и...

— Оставайтесь,— сказал Морис.

У Мориса было очень ясное сознание требований приличия. Когда он о них думал, он ставил честь выше всего. И в это мгновение он представил себе с необычайной силой, что оскорбление, ему нанесенное, может быть смыто только кровью. Эта традиционная мысль тотчас же придала его поведению и речи неожиданное благородство.

— Не вам, а мне, милостивый государь,— сказал он,— придется покинуть эту квартиру, чтобы больше не возвращаться сюда. Вы же оставайтесь здесь, так как вам нужно скрываться от правосудия. Здесь же вы примете моих секундантов.

Ангел улыбнулся:

— Я приму их, чтобы доставить вам удовольствие; но не забывайте, милый Морис, что я неуязвим. Небесных духов, даже материализованных, не могут ранить ни острое пшави, ни пуля пистолета.

Учтите, Морис, положение, в которое меня ставит при дуэли это фатальное неравенство, и подумайте о том, что для отвода секундантов я не могу сослаться на мое небесное происхождение, ибо такой случай не имеет прецедентов.

— Милостивый государь,— ответил наследник Бюссаров-д'Эпарвье,— надо было думать об этом раньше, чем наносить мне оскорбление.

И он гордо вышел. Но как только он очутился на улице, он зашатался, как пьяный. Дождь все еще лил. Он шел, не видя, не слыша, наугад, волоча ноги, попадая в канавы, в лужи, в грязь. Он шел долго по внешним бульварам и, наконец, устал и свалился на краю какого-то пустыря. Он перепачкался по уши; грязь, смешавшись со слезами, покрывала ему лицо, с полей шляпы текла вода. Прохожий принял его за нищего и бросил ему два су. Он поднял медяк, заботливо спрятал его в жилетный карман и пошел на розыски секундантов.

Глава XXX,

повествующая об одном деле чести и позволяющая судить, делаемся ли мы лучше, как это утверждает Аркадий, от сознания своих ошибок

Местом дуэли был избран сад полковника Меншона, на бульваре Королевы, в Версале. Гг. де-ла-Вердельер и Ле-Трюк-де-Рюффек, постоянно занятые в делах чести, в точности знавшие соответствующие правила, были секундантами Мориса д'Эпарвье. Ни одна дуэль в католическом мире не обходилась без участия г-на де-ла-Вердельера, и, обратившись к этому мужу шпаги, Морис поступил согласно обычаю, хотя и не без известного неприятного чувства, так как был общепризнанным любовником г-жи де-ла-Вердельер; но на г-на де-ла-Вердельера нельзя было смотреть, как на мужа: это было учреждение. Что же касается г-на Ле-Трюк-де-Рюффека, то честь была его единственно известной профессией и единственным признанным средством к существованию; и когда злые языки упоминали об этом в обществе, их вопрошали, какую лучшую карьеру мог сделать г-н Ле-Трюк-де-Рюффек, чем карьеру чести. Секундантами Аркадия

были князь Истар и Теофиль. Весьма неохотно и упираясь, принял ангел-музыкант участие в этом деле. В нем вызывало отвращение всякое насилие, и он осуждал поединки. Он не выносил пистолетных выстрелов и лязга шпаг, а при виде крови терял сознание. Этот нежный сын неба упорно отказывался быть вторым секундантом своего брата Аркадия, и, дабы уговорить его, керубу пришлось угрожать, что он разобьет об его голову бутылку со взрывчатым веществом. Кроме дуэлянтов, секундантов и врачей, в саду находились лишь несколько офицеров версальского гарнизона и изрядное число журналистов. Хотя молодого д'Эпарвье знали только как сына порядочных родителей, а Аркадия не знал вообще никто, дуэль вызвала большое стечение любопытных, и окна соседних домов были усеяны фотографиями, репортерами и людьми светского общества. Больше всего возбуждало интерес то обстоятельство, что причиной ссоры была женщина. Некоторые называли Бупотту, но большинство указывало на г-жу дез-Обель. Впрочем, было вообще замечено, что дуэли, где секундантом бывал г-н де-ла-Вердельер, привлекали весь Париж.

Небо было нежно голубое, сад — полон цветущих роз; дрозд свистел на дереве. Г-н де-ла-Вердельер, с тростью в руке руководивший дуэлью, вымерил шпаги и сказал:

— Начинайте, господа!

Морис д'Эпарвье атаковал дублетами и батманами. Аркадий парировал, не отводя шпаги. Первая схватка не дала результатов. Секунданты вынесли впечатление, что г-н д'Эпарвье находится в огорчительном состоянии нервного раздражения, а противник обещает быть неутомимым. При второй схватке Морис усиливает атаку, раздвигает руки и открывает грудь, он атакует наступая, наносит прямой удар; острие его шпаги касается плеча Аркадия. У всех создалось впечатление, будто тот ранен. Однако секунданты с удивлением констатируют, что у Мориса подарапана кисть руки. Морис заявляет, будто не чувствует боли, и доктор Киль после осмотра удостоверяет, что его пациент может продолжать дуэль.

После полагающегося перерыва в четверть часа поединок возобновляется. Морис ожесточенно нападает. Противник явно щадит его и, — что беспокоит г-на де-ла-Вердельера, — видимо, небрежно защищается. В начале пятого тура черный пудель, неизвестно каким образом попавший в сад, выскакивает из-за куста роз, пробирается на площадку, отведенную для дерущихся, и, несмотря на удары и крики,

бросается под ноги Мориса. Впечатление такое: у последнего онемела рука и будто он делает выпады против неуязвимого противника только плечом. Он делает прямой выпад,—и сам натывается на шпагу противника, наносящую ему глубокую рану у сгиба локтя.

Г-н де-ла-Верделлер прекращает поединок, длившийся полтора часа. Морис ощущает тяжелое потрясение. Его сажают на зеленую



скамейку у стены, заросшей глициниями. Пока хирурги перевязывают рану, он подзывает Аркадия и протягивает ему раненую руку. И когда победитель, опечаленный победой, подходит, Морис нежно обнимает его и говорит:

— Будь великодушен, Аркадий, прости мне твою измену. Теперь, после поединка, я могу просить тебя помириться со мной.

Он, плача, обнимает друга и шепчет ему на ухо:

— Заходи ко мне вместе с Жильбертой.

Морис, продолжавший быть в ссоре с родителями, велел отвезти себя на улицу Рима.

Едва лишь он вытянулся в постели, в глубине спальни, где шторы были спущены, как когда-то, в минуту появления ангела,— как увидел входящих Аркадия и Жильберту. Рана начинала сильно его мучить, температура подымалась, но он был спокоен, доволен, счастлив. Ангел и женщина в слезах бросились к его постели. Он соединил их руки в своей левой руке, улыбнулся им и нежно поцеловал обоих:

— Теперь я уверен, что больше не поссорюсь с вами: больше уж вы меня не обманете,— я знаю, что вы способны на все.

Заплаканная Жильберта клялась Морису, что он был введен в заблуждение ложной видимостью, что она не обманула его, что она никогда не обманывала его. И в великом порыве искренности она начинала сама верить в это.

— Ты клеветешь на себя, Жильберта,— возразил ей раненый.— Все это было. Так было нужно. И хорошо, что так случилось. Жильберта, ты была права, бессовестно обманув меня с моим лучшим другом, в этой самой комнате. Не сделай ты этого, мы не были бы сейчас здесь вдвоем, и я не испытал бы величайшей радости в жизни. О Жильберта, как ты неправа, отрицая то, что прошло и хорошо кончилось!

— Если ты этого хочешь, мой друг,— ответила Жильберта с горечью,— я не буду отрицать. Но только для того, чтобы сделать тебе приятное.

Морис усадил ее на постель и попросил Аркадия сесть в кресло.

— Мой друг,— сказал Аркадий,— я был невинен. Потом я сделался человеком. Тотчас же я совершил зло. И от этого я стал лучше.

— Не будем ничего преувеличивать,— сказал Морис,— и сыграем в бридж.

Но едва больной увидел у себя на руках трех тузов и объявил без козырей, как в глазах у него помутилось; карты выскользнули у него из рук, отяжелевшая голова упала на подушку, и он стал жаловаться на сильную головную боль. Почти немедленно г-жа дез-Обель уехала делать визиты: ей было важно показаться в свете, чтобы опровергнуть своим спокойствием и уверенностью распространившиеся о ней слухи. Аркадий проводил ее до дверей и вместе с поцелуем вдохнул ее духи, запах которых принес в комнату, где дремал Морис.

— Я очень доволен,— прошептал последний,— что все произошло таким образом.

— Случилось то, что и должно было,— ответил дух.— Все ангелы, восставшие, как я, поступили бы с Жильбертой подобно мне. „Женщины,— говорит апостол,— из-за ангелов должны молиться с закрытыми лицами“. И апостол говорит так, зная, что женская красота волнует ангелов. Едва коснувшись земли, они уже жаждут соединения со смертными. Их объятия страшны и упоительны; они знают тайну невыразимых ласк, которые погружают дочерей человеческих в бездну сладострастия. Прикасаясь к губам своих счастливых жертв горящим медом, медленно наполняя их жилы потоками освещающего пламени, они приводят их в изнеможение и восторг.

— Оставь меня в покое, грязное животное! — воскликнул раненый.

— Еще одно слово,— сказал ангел,— одно лишь слово в свое оправдание, милый Морис, и я предоставлю тебе спокойно отдыхать. Нет ничего убедительнее точных справок. Чтобы увериться, что я тебя не обманываю, прочти, Морис, что написано об объятиях между ангелами и женщинами: Юстин „Апологии“, I и II; Иосиф Флавий „Иудейские древности“, книга I, глава III; Афинагор „О воскресении“; Лактанций, книга II, глава XV; Тертуллиан „О покрывале дев“; Марк Эфесский „Псела“; Евсевий „Евангельские назидания“, книга V, глава IV; святой Амвросий в книге „О Ное и ковчеге“, глава V; святой Августин, „О граде божьем“, книга XV, глава XXIII; отец Мельдонат, иезуит, „Трактат о демонах“, страница 218; Петр Левье, советник короля...

— Аркадий, замолчи, умоляю тебя! Замолчи! Замолчи! И прогони эту собаку! — воскликнул Морис, у которого лицо пылало, а глаза вылезали из орбит, так как в бреду ему мерещился на кровати черный пудель.

Г-жа де-ла-Вердельер, сделавшая своим занятием все элегантные дела, светские и национальные, считалась одной из самых очаровательных сиделок великосветской Франции. Она захотела узнать о здоровье Мориса и сама предложила ухаживать за больным. Но подчиняясь энергичному внушению г-жи дез-Обель, Аркадий захлопнул дверь у нее перед носом. Мориса засыпали выражениями сочувствия. Груда визитных карточек на подносе топорщилась во все стороны загнутыми углами. Г-н Ле-Трюк-де-Рюффеком одним из пер-

вых явился на улицу Рима засвидетельствовать свою мужскую симпатию и, протянув свою верную руку, попросил в долг у молодого д'Эпарвье, как человек чести у человека чести, двадцать пять лундоров для уплаты долга чести.

— Право, мой друг Морис, за такой услугой обратишься не ко всякому.

В тот же день г-н Гаэтан приехал пожать руку племяннику. Тот представил ему Аркадия.

— Дядя, вот мой ангел-хранитель, ступня которого вам так понравилась, когда вы увидели отпечаток его шагов на предательском порошке. Он явился мне в прошлом году в этой самой комнате... Вы не верите?.. А между тем это истинная правда.

И повернувшись к духу, добавил:

— Что ты скажешь, Аркадий? Аббат Патуль, великий богослов и хороший кюре, не верит, что ты ангел; и мой дядя Гаэтан, не знающий катехизиса и не признающий религии, верит этому не больше. Оба они тебя отрицают: один — потому, что у него есть вера, другой — потому, что у него ее нет. Можно поручиться, судя по этому, что ежели рассказать твою историю, она всем покажется совершенно неправдоподобной. Впрочем, тот, кто решился бы на это, был бы человеком без вкуса и не встретил бы большого сочувствия. Ибо твоя история не так уж красива! Я люблю тебя, но я же тебя и осуждаю. С тех пор, как ты впал в атеизм, ты стал ужасным негодяем: плохим ангелом, плохим другом, предателем, убийцей. Мне сдается, что ты же и пустил мне под ноги черного пуделя во время дуэли, чтобы убить меня.

Ангел пожал плечами и, обращаясь к Гаэтану, сказал:

— Увы, меня не удивляет, что я встречаю в вас так мало доверия: мне передавали, будто вы в ссоре с иудейско-христианским небом, откуда я родом.

— Я не настолько верю в Иегову, сударь, — отвечал Гаэтан, — чтобы верить в его ангелов.

— Тот, кого вы, сударь, называете Иеговой, на самом деле лишь грубый и невежественный демиург, по имени Иалдаваоф.

— В таком случае, сударь, я готов в него поверить. Раз он невежественен и ограничен, я не встречаю препятствий к его существованию. Как он поживает?

— Плохо! Мы свергнем его в будущем месяце.

— Не обольщайте себя надеждой, сударь. Вы напоминаете мне моего шурина Кюиссара, который уже тридцать лет подряд ждет каждое утро падения республики.

— Вот видишь, Аркадий,— воскликнул Морис,— дядя Гаэтан того же мнения, что и я! Он знает, что тебя ждет неудача.

— Но почему же, скажите пожалуйста, господин Гаэтан, вы думаете, что меня ждет неудача?

— Ваш Иадаваоф еще очень силен в этом мире, если и не силен в другом. Раньше его поддерживали кюре и те, кто в него верили; теперь его опора—те, кто в него не верит, философы. Совсем еще недавно нашелся педант, по имени Пикроколь, который хотел доказать банкротство науки, чтобы улучшить дела церкви. И разве в наши дни не выдумали прагматизма специально для того, чтобы поднять доверие к религии среди резонеров?

— Вы изучали прагматизм?

— О, конечно, нет! В свое время я был легкомыслен и занимался метафизикой. Читал Гегеля и Канта. С годами я стал серьезнее и теперь занимаюсь только чувственными формами, всем тем, что можно воспринять глазом или ухом. Искусство—это человек. Остальное—мечтание.—Разговор продолжался в том же духе до вечера и много было сказано вольностей, от которых покраснел бы не только кирасир (что было бы не столь же удивительно, так как среди кирасиров часто встречаются люди скромные), но даже парижанка.

Г-н Сарьетт пришел навестить своего старого ученика. Едва лишь вошел он в комнату, бюст Александра д'Эпарвье появился над лысой головой библиотекаря. Г-н Сарьетт подошел к постели. Голубые занавески, зеркальный шкаф, камин—все тотчас заменилось шкапами с книгами из зала Сфер и Бюстов, а воздух сделался спертым от карточек, каталога и папок. Г-н Сарьетт был настолько неотделим от своей библиотеки, что его нельзя было представить себе или увидеть отдельно от нее. Сам он был более бледным, неопределенным, расплывчатым, более воображаемым, чем образы, которые вызывал.

Морис, сильно подорванный за это время, был тронут таким проявлением дружбы.

— Садитесь, господин Сарьетт. Ведь вы знакомы с госпожой дез-Обель? Позвольте вам представить Аркадия, моего ангела-хра-

пителя. Это он, когда еще был невидимым, переворачивал вверх дном в течение двух лет вашу библиотеку, довел вас до потери аппетита и чуть было не свел с ума. Именно он переносил из залы Сфер в мой павильон охапки старых книг. Однажды он утащил у вас из-под носа какую-то драгоценную книжонку и был причиной того, что вы упали с лестницы. В другой раз он взял у вас брошюры Соломона Рейнака и, когда ему пришлось выйти из дома вместе со мной (он никогда не оставлял меня, как я потом узнал), уронил брошюры в канаву на улице Принцессы. Простите его, господин Сарьетт: у него не было кармана. Он был невидим. Я горько сожалею, господин Сарьетт, что все ваши старые книги не сгорели во время пожара и не погибли от наводнения. Они совершенно сбили с толку моего ангела, ставшего человеком и потерявшего веру и совесть. Теперь я сделался его ангелом-хранителем. Бог знает еще, чем это кончится.

За время этого рассуждения лицо г-на Сарьетта выражало печаль бесконечную, вечную, непоправимую печаль мумии. Прощаясь, огорченный библиотекарь сказал на ухо Аркадию:

— Бедный мальчик очень болен. Он бредит.

Морис обратился к старику:

— Оставайтесь, господин Сарьетт. Вы сыграете с нами в бридж. Господин Сарьетт, послушайте моего совета, не поступайте, как я, не бывайте в дурном обществе. Вы погибнете. Господин Сарьетт, подождите уходить, мне нужно попросить вас о большом одолжении: когда вы еще раз придете навестить меня, принесите мне книгу об истинности религии, я хочу ее проштудировать. Я должен вернуть моему ангелу-хранителю веру, которую он утратил.

Глава XXXI,

вызывающая у нас изумление тем, с какой легкостью человек честный, робкий и кроткий может совершить ужасное преступление

Глубоко опечаленный темными речами молодого Мориса, г-н Сарьетт сел в автобус и отправился к папаше Гинардону, своему другу, единственному другу, единому человеку в мире, которого ему

было приятно видеть и слышать. Когда г-н Сарьетт вошел в лавочку на улице Курсель, Гинардон был один и дремал в глубоком старинном кресле. У него были вьющиеся волосы, пышная борода и багровое лицо; лиловые жилки испещряли ноздри носа, покрасневшего от бургундского вина, ибо — этого нельзя было скрыть — папаша Гинардон выпивал. В двух шагах от него, на рабочем столике юной Октавии, осыпалась роза в пустом стакане, а недоконченное выши-



вание валялось в рабочей корзиночке. Юная Октавия все чаще стала покидать магазин, а г-н Бланмениль не показывался там, когда ее не было. Причина была та, что они встречались три раза в неделю, в пять часов, в доме свиданий близ Елисейских полей. Папаша Гинардон ничего об этом не знал. Он не знал всей глубины своего несчастья, но страдал от него.

Г-н Сарьетт пожал руку старому другу, но не спросил ничего об юной Октавии, ибо не понимал, какого рода узы их соединяют.

Он охотнее поговорил бы о безжалостно покинутой Зефирине, так как ему хотелось, чтобы старик сделал ее своей законной супругой. Но г-н Сарьетт был благоразумен и удовольствовался тем, что спросил Гинардона, как он поживает.

— Великолечно,— ответил Гинардон, который чувствовал себя плохо, но прикидывался бодрым и здоровым, с тех пор как здоровье и бодрость покинули его.— Слава богу, я еще сохранил крепость тела и духа. Я целомудрен. Будь целомудрен, Сарьетт. Кто целомудрен, тот силен.

Папаша Гинардон в тот вечер вытащил из комода фиалкового дерева несколько ценных книг, чтобы показать их одному почтенному библиографу, г-ну Виктору Мейеру, и после ухода этого клиента заснул, не положив их на место. Г-н Сарьетт, которого книги всегда привлекали, увидев эти экземпляры на мраморной доске комода, стал их с любопытством рассматривать. Первая книга, которую он начал листать, была „Девственница“, в сафьяновом переплете и с английскими гравюрами. Без сомнения, его сердцу француза и христианина было тяжело наслаждаться этим текстом и этими рисунками, но прекрасная книга всегда представлялась ему добродетельной и чистой. Не прерывая душевной беседы с Гинардоном, он брал в руки одну за другой книги, которые антикварий ценил за их переплеты, за эстампы, за происхождение или редкость; вдруг он испустил восторженный крик радости и любви. Он нашел „Лукреция“ приора Вандомского, своего „Лукреция“, и прижал его к сердцу.

— Наконец-то я его снова вижу,— вздохнул он, поднося книгу к губам.

Папаша Гинардон сначала не понял, что хотел сказать его старый друг, но когда тот заявил, что эта книга принадлежит библиотеке д'Эпарвье, что эта книга его, Сарьетта, и что он заберет ее без всяких разговоров, антикварий, окончательно пробудившись, поднялся и твердо заявил, что книга принадлежит ему, Гинардону, что он ее приобрел законно и не отдаст иначе, как за пять тысяч франков, ни больше, ни меньше.

— Вы не понимаете того, что я вам говорю,— возразил Сарьетт.— Эта книга принадлежит библиотеке д'Эпарвье; я должен ее туда вернуть.

— Ну нет, милашка...

— Эта книга принадлежит мне...

— Вы с ума сошли, милый Сарьетт!..

Заметив, что библиотекарь в самом деле был весьма возбужден, он взял у него из рук книгу и попробовал переменить разговор.

— Как вам нравится, Сарьетт: эти свиньи собираются распотрошить дворец Мазарини и покрыть невесть какими произведениями искусства Сите, самое величественное и красивое место в Париже! Они хуже вандалов, так как вандалы разрушали памятники древности, но не заменяли их отвратительными постройками и мостами гнусного стиля, вроде моста Александра III. И ваша бедная улица Гарансьер, Сарьетт, тоже стала добычею варваров. Что они сделали с красивым бронзовым маскароном на дворцовом фонтане?..

Но Сарьетт ничего не слышал.

— Гинардон, вы не поняли. Выслушайте меня. Эта книга принадлежит библиотеке д'Эпарвье. Она была отсюда унесена. Кем? Когда? — Не знаю. В библиотеке происходили ужасные и таинственные вещи. Словом, эта книга была выкрадена. Мне незачем взывать к вашему высокому чувству честности, дорогой друг! Вы не захотите прослыть укрывателем. Отдайте мне эту книгу. Я возвращу ее господину д'Эпарвье, который возместит вам ее стоимость, в чем вы можете не сомневаться. Положитесь на его щедрость и поступите со свойственным вам благородством.

Антикварий горько улыбнулся.

— Мне положиться на щедрость старого скряги д'Эпарвье, готового содрать шкуру с блохи!.. Поглядите-ка на меня, милый Сарьетт, и скажите, похож ли я на простака? Вы отлично знаете, что д'Эпарвье отказался заплатить пятьдесят франков старьевщику за портрет Александра д'Эпарвье, своего великого предка, работы Эрсента, что торгаш-еврей выставил великого предка на бульваре Монпарнас, против кладбища, и собаки всего квартала мочатся на него... Положиться на щедрость д'Эпарвье! Смееетесь вы надо мной?

— Ну, хорошо, Гинардон, я обещаю сам заплатить вам по справедливой оценке. Слышите?

— Не играйте в благородство с недостойными, милый Сарьетт! Этот д'Эпарвье получил ваши знания, вашу энергию, всю вашу жизнь за плату, на которую не польстился бы и лакей. Бросьте это дело... Кроме того, уже слишком поздно. Книга продана...

— Продана!.. Кому? — спросил Сарьетт в ужасе.

— Не все ли вам равно? Вы ее больше не увидите, больше о ней не услышите: она уплывает в Америку.

— В Америку? „Луcreция“ с гербом Филиппа Вандомского, с собственноручными пометками Вольтера! Мой „Луcreций“! В Америку!

Папаша Гинардон расхохотался.

— Дорогой Сарьетт, вы мне напоминаете кавалера де-Грие в ту минуту, когда он узнал, что его возлюбленная будет отправлена на Миссисипи: „Моя возлюбленная на Миссисипи!..“

— Нет,— ответил Сарьетт, совершенно побледнев,— нет, эта книга не уплывет в Америку! Она возвратится, как это и подобает, в библиотеку д'Эпарвье. Отдайте ее мне, Гинардон!

Антикварий вторично попытался оборвать разговор, принимавший, казалось, дурной оборот.

— Милый Сарьетт, вы еще мне ничего не сказали о моем Греко. Вы даже не взглянули на него. А между тем он восхитителец!

И Гинардон продолжал, повернув картину к свету:

— Поглядите на святого Франциска, нищего во Христе, брата Иисусова; его черное тело поднимается к небу, как дым угодной жертвы, как жертва Авеля..

— Книгу, Гинардон, отдайте мне книгу! — сказал Сарьетт, не поворачивая головы.

Внезапно кровь бросилась в голову папаше Гинардону; покраснев, с надувшимися на лбу венами, он сказал:

— Ну, хватит!

И положил „Луcreция“ в карман пиджака.

Тотчас же Сарьетт кинулся к антикварию с неожиданной яростью; набросился на него и, несмотря на свою тщедушность, опрокинул крепкого старика в кресло юной Октавии.

Гинардон, ошеломленный и взбешенный, осыпал страшными ругательствами старого маньяка и ударом кулака отбросил его на четыре шага, к „Венчанию девы“, произведению Фра-Анжелико, которое с шумом повалилось. Сарьетт снова накинулся на него и попытался вытащить книгу из кармана, где она находилась. На этот раз папаша Гинардон пришиб бы его на месте, если бы, ослепленный кровью, бросившейся ему в голову, не промахнулся и не попал в стоявший рядом рабочий столик отсутствующей Октавии. Сарьетт вце-

нился в изумленного противника, прижал его к креслу и своими иссохшими ручками сдавил ему шею, и без того уже красную, а теперь ставшую багровой. Гинардон делал усилия, стараясь освободиться; но тоненькие пальцы, почувствовав мягкое теплое тело, с наслаждением впивались в него. Непонятная сила приковала их к добыче. Гинардон хрипел, слюна текла у него из уголка рта. Огромное тело прерывисто вздрагивало; но движения становились все судорожнее и реже. Наконец они прекратились. Руки, совершившие убийство, не разжимались. Сарьетт должен был сделать большое усилие, чтобы оторвать их. В висках у него стучало. Тем не менее он слышал шум дождя, заглушенные шаги по тротуару, далекий крик газетчиков; видел двигавшиеся в темноте зонтики. Он вытащил книгу из кармана мертвеца и убежал.

В тот вечер юная Октавия не вернулась в магазин. Она отправилась почевать в комнатуху на антресолях другой антикварной лавки, только что приобретенной для нее г-ном Бланменилем на той же самой улице Курсель. Сторож, на обязанности которого лежало закрывать магазин, нашел еще теплое тело антиквария. Он позвал привратницу, г-жу Ленеи, которая уложила Гинардона на диван, зажгла две свечи, положила веточку букса в блюде, наполненное святой водой, и закрыла глаза умершему. Врач, призванный констатировать смерть, приписал ее удару.

Оповещенная г-жой Ленеи Зефирина прибежала и провела ночь возле покойника. Казалось, он спит. В дрожащем сиянии свечей „Святой“ Греко подымался, как дым; в темноте сверкало золото примитивов. Около смертного ложа ясно выделялась Бодуэновская женщина, принимающая лекарство. Всю ночь на пятьдесят шагов вокруг были слышны причитания Зефирины. Она говорила:

— Он умер, он умер, мой друг, мой бог, мой мир, моя любовь! Нет, он не умер, он шевелится! Это я, Мишель, я, твоя Зефирина: проснись, послушай меня. Скажи мне, что ты меня любишь! Если я огорчила тебя, прости меня... Он умер! Умер! Боже мой, посмотрите, как он прекрасен! Он был такой добрый, такой умный, такой ласковый! Боже мой! Боже мой! Будь я здесь, он бы не умер. Мишель! Мишель!

К утру она умолкла. Думали, она задремала,— но она была мертва.

Глава XXXII,
в которой мы услышим флейту Нектария в ка-
бачке Хлодомира

Г-жа де-ла-Вердельер, которой не удалось проникнуть в качестве сиделки, явилась несколько дней спустя, в отсутствие г-жи дез-Обель, дабы получить у Мориса д'Эпарвье лепту на французскую церковь. Аркадий провел ее к изголовью выздоравливающего.

Морис сказал ангелу на ухо:

— Предатель, освободи меня сейчас же от этой людоедки, не то на тебя падет ответственность за несчастья, которые здесь произойдут.

— Будь спокоен,— ответил Аркадий уверенно.

После обычных приветствий, г-жа де-ла-Вердельер сделала Морису знак удалить ангела. Морис притворился, будто не понимает. И г-жа де-ла-Вердельер изложила показную причину своего визита.

— Что станет с нашими церквами, нашими милыми деревенскими церквами?

Аркадий смотрел на нее с ангельским видом, вздыхая.

— Они разрушатся, сударыня, они превратятся в развалины. Какая потеря! Я неутешен! Церковь среди деревенских домов — это насадка среди дышат.

— Да, это так,— сказала г-жа де-ла-Вердельер с восхищенной улыбкой,— это именно так!

— А колокольни, сударыня?

— О сударь, колокольни!..

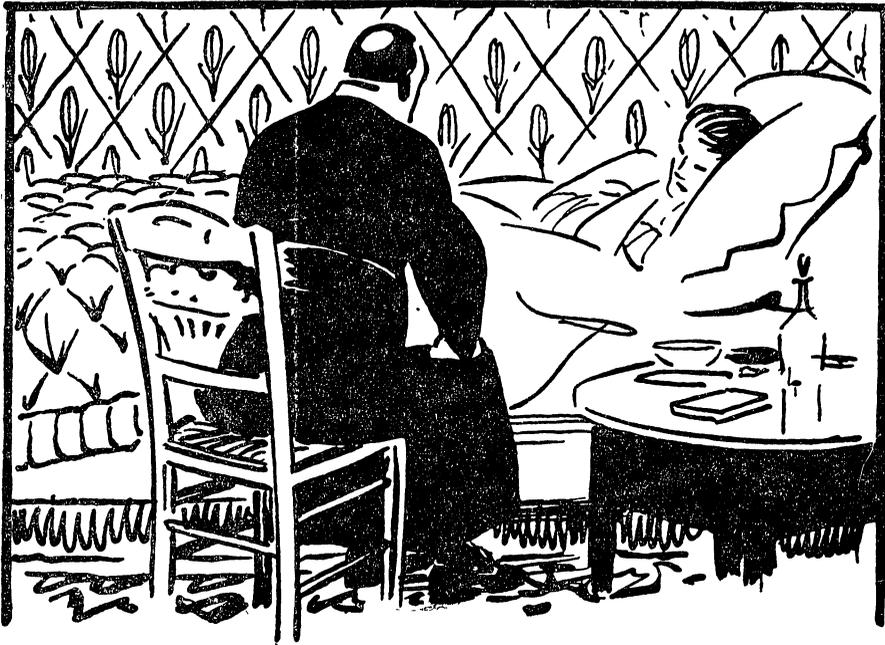
— Колокольни, сударыня, вздымаются к небу, как гигантские клистирные трубки к голым задкам херувимов.

Г-жа де-ла-Вердельер немедленно покинула комнату.

В тот же самый день г-н аббат Патуль принес раненому свои наставления и утешения. Он убеждал Мориса порвать с дурной компанией и помириться с семьей. Он изобразил его мать проливающей слезы и готовой принять в свои объятия вновь обретенное дитя; а само оно, прекратив мужественным усилием воли жизнь, полную беспутства и обманчивых наслаждений, вновь обретет сердечный покой и душевную твердость, избавится от снедающих его призраков, освободится от козней лукавого.

Молодой д'Эпарвье поблагодарил г-на аббата за доброту и уверил его в своей истинной религиозности.

— Никогда еще,— сказал он,— не был я столь верующим и никогда еще не было у меня такой потребности в вере. Представьте себе, господин аббат, мне приходится обучать катехизису моего ангела-хранителя, который его забыл.



Г-н аббат Патуль глубоко вздохнул и стал убеждать свое дорогое дитя молиться, ибо молитва — единственная помощь против опасностей, грозящих душе, на которую покушается дьявол.

— Господин аббат,— спросил Морис,— не разрешите ли представить вам моего ангела-хранителя? Обождите минутку, он пошел за папиросами.

— Бедное дитя!

И круглые щеки аббата Патуля опустились в знак скорби. Но тотчас же поднялись, как символ радости. Ибо у сердца его были причины для ликования.

Общественное настроение улучшилось. Якобинцы, франкмасоны, блокисты всюду встречали поношение. Избранное общество подавало хороший пример. Французская Академия держала себя весьма благонамеренно. Христианские школы множились. Молодежь Латинского квартала склонялась перед церковью. Нормальная школа благоухала семинарией. Крест торжествовал. Но нужны были деньги, еще деньги, все время деньги.

После полуторамесячного отдыха, врач разрешил Морису д'Эпарвье совершить прогулку в экипаже. Рука у него была на перевязи. Возлюбленная и друг сопровождали его. Они отправились в Булонский лес и вкусили тихую радость при виде травы и деревьев. Они улыбались всему, и все улыбалось им. Как сказал Аркадий, ошибки сделали их лучше. Неожиданным следствием ревности и гнева явилось то, что Морис стал спокойным и благодушным. Он еще любил Жильберту, но любил любовью снисходительной. Ангел желал эту женщину так же, как и прежде, но его желание, обрета ее, утратило яд любопытства. Жильберта спокойно наслаждалась тем, что нравилась, и от этого нравилась еще больше. Они выпили у Каскада молоко, показавшееся им великолепным. Все трое были невинны. Аркадий забывал несправедливости старого тирана мира; вскоре они должны были напомнить ему о себе.

Вернувшись на квартиру друга, он застал ожидавшую его Зиту, похожую на статую из слоновой кости и золота.

— Мне жаль вас,— сказала она.— Приближается день, какого еще не было от начала времен и который, быть может, не повторится раньше, чем солнце со своей свитой не вступит в созвездие Геркулеса: мы накануне того, чтобы захватить Иалдаваофа в его порфириновом дворце, а вы, горевший желанием освободить небеса, спешивший вступить победителем в освобожденную родину, идруг забываете свои благородные стремления и дремлете в объятиях дочерей человеческих. Что за удовольствие доставляет вам общение с этими нечистоплотными зверьками, созданными из таких неустойчивых элементов, что кажется, будто они беспрерывно текут? Ах, Аркадий, я была права, не доверяя вам! Вы только интеллигент; в вас говорит лишь любопытство. Вы не способны к действию

— Вы дурно судите обо мне, Зита,— ответил ангел.— В природе сыновей неба заложена любовь к дочерям человеческим. Хоть и

тленна плоть женщин и цветов, все же она чарует чувство. Но ни один из этих зверьков не заставит меня забыть мою ненависть и мою любовь, и я готов выступить против Иалдаваофа.

Зита выразила удовлетворение его решимостью. Она стала убеждать его приступить без колебания к выполнению их огромного замысла; не следует спешить, но не следует и медлить.

— Великое дело, Аркадий, состоит из множества мелких; величайшее целое слагается из тысячи ничтожных частиц. Не будем пренебрегать ничем.

Она пришла за ним, чтобы идти на собрание, где его присутствие было необходимо. Там должны были подсчитать силы восставших.

Она добавила лишь одно:

— Там будет Нектарий.

Когда Морис увидел Зиту, он нашел ее непривлекательной: она не понравилась ему, ибо красота ее была совершенной, а истинная красота всегда внушала ему тягостное удивление. Морис почувствовал к ней неприязнь, когда узнал, что она восставший ангел и ведет Аркадия к заговорщикам. Бедный юноша пытался удержать своего товарища всеми способами, какие ему подсказывали ум и обстоятельства. Если его ангел-хранитель останется с ним, они пойдут вместе на изумительный матч бокса, „на обозрение“, где будут показывать апофеоз Пуанкаре, наконец, в одно место, где он увидит женщин, исключительных по красоте, талантам, порокам и уродству. Но ангел не соблазнился и сказал, что пойдет с Зитой.

— Для чего?

— Чтобы подготовить завоевание неба.

— Опять это безумие! Завоевание не... Но ведь я же тебе доказал, что это невозможно и нежелательно.

— До свидания, Морис...

— Ты все-таки идешь?.. Ну, хорошо, тогда я пойду с тобою.

И Морис, держа руку на перевязи, последовал за Аркадием и Зитой на Монмартр, в кабачок Хлодомира, где в саду под навесом был накрыт стол.

Князь Истар и Теофиль были уже там вместе с одной маленькой, желтой фигуркой, напоминавшей ребенка,— это был японский ангел.

— Ждут только Нектария,— сказала Зита.

В эту минуту бесшумно появился старый садовник. Он сел, и собака легла у его ног. Французская кухня — первая в мире. Ее слава прогремит превыше всех других, когда человечество, поумнев, поставит вертел выше шпаги. Хлодомир подал ангелам и смертному, который был с ними, жирную похлебку, свиное филе и почки в мадере, доказывавшие, что этот монмартрский повар не был развращен американцами, которые портят лучших поваров Города-гостиницы.

Хлодомир откупорил бутылку бордо, которое хотя и не значилось среди лучших лоз Медока, но ароматом и букетом свидетельствовало о своем благородном происхождении. Следует отметить, что после этого вина и многих других хозяин погребка торжественно принес романею, крепкую и легкую, мощную и нежную, настоящей бургундской закваски, огненную и хмельную, истинную радость чувств и духа.

Старый Нектарий поднял стакан и сказал:

— Тебе, Дионис, величайший из богов, тебе, кто вместе с золотым веком вернет смертным, ставшим героями, гроздь, которые Лесбос отводил некогда от черенков Мефимны, и лозы Фазоса, и белый виноград озера Мареотидского, и погреба Фалерна, и виноградники Тмола, и царя вин — Фанею. Сок этих гроздьев будет божественным, и вновь, как во времена старого Силена, люди будут охьяняться мудростью и любовью.

Когда подали кофе, Зита, князь Истар, Аркадий и японский ангел сделали поочередно доклады о состоянии сил, собранных против Иалдаваофа. Ангелы, покидая вечное блаженство для земных страданий, умственно развиваются, но вместе с тем приобретают способность ошибаться и впадать в противоречия. Поэтому их собрания, подобно людским, бывают шумными и беспорядочными. Как только один из заговорщиков приводил цифру, другие тотчас же ее опровергали. Они не могли сложить двух чисел без спора, и сама арифметика, проникаясь страстью, теряла свою точность. Керуб, который силой привел благочестивого Теофиля, услышав, что музыкант восхваляет господу, вознегодовал и надавал ему по голове колотушек, которыми можно было бы убить быка. Но голова музыканта, как оказывается, крепче черепа быка. И удары, полученные Теофилем, не изменили мыслей этого ангела о божественном провидении. Аркадий долго противопоставлял свой научный идеализм прагматизму

Зиты, но прекрасная архангелша сказала ему, что рассуждает он слабо.

— Чему же вы удивляетесь! — воскликнул ангел-хранитель молодого Мориса. — Я рассуждаю, как и вы, на человеческом языке. А что такое человеческий язык? Крик горного или лесного зверя, только усложненный и испорченный гордыми приматами. Постройте-ка, Зита, из этого набора гневных или жалобных звуков логическое рассуждение! Ангелы не рассуждают. Люди же, которые стоят выше ангелов, рассуждают плохо. Я не говорю о профессорах, которые думают определить абсолют при помощи криков, унаследованных ими от автропопитеков, обезьян, двуутробок и пресмыкающихся — их предков. Это великая буффонада! Как бы позабавился ею демиург, будь он умен!

Ночь озарилась звездами. Садовник хранил молчание.

— Нектарий, — сказала прекрасная архангелша, — сыграйте на флейте, если вы не боитесь растрогать небо и землю.

Нектарий взял флейту. Молодой Морис зажег папиросу. Пламя вспыхнуло на мгновение, снова погрузило в темноту небо и звезды, и умерло. Нектарий же воспел это пламя на своей вдохновенной флейте. Серебряный голос зазвучал и сказал:

— Это пламя есть вселенная, исполнившая свое предназначение менее чем в минуту. Ее создали из солнц и планет. Венера Урания измерила орбиты тел, блуждающих в бесконечных пространствах. От дыхания Эроса, перворожденного из богов, родились растения, животные, мысли. За двадцать секунд, протекших между возникновением и смертью этого мира, развернулись цивилизации, империи пережили долгий период упадка. Матери плакали и к безмолвным небесам возносились песни любви, крики ненависти и вздохи жертв. Соответственно своему малому размеру, этот мир жил столько же, сколько жил и проживет тот, другой мир, несколько атомов которого сияют у нас над головой. Оба они — вспышки света в бесконечности.

И по мере того как в зачарованном воздухе возникали чистые и светлые звуки, земля стала переходить в неясную туманность, а звезды — описывать быстрые круги. Большая Медведица распалась, и части ее рассыпались. Пояс Ориона разорвался, Полярная звезда покинула свою магнитную ось. Сириус, светивший на горизонте раскаленным светом, поглубел, покраснел, замерцал

и в мгновение погас. Созвездия задвигались и образовали новые знаки, которые исчезли в свою очередь. Своим волшебством магическая флейта сжала в краткое мгновение жизнь и движение этого мира, казавшегося людям и ангелам недвижимым и вечным. Она замолкла, и небо приняло прежнее обличие. Нектарий исчез. Хлодомир спросил гостей, довольны ли они супом, который, дабы хорошо увариться, сутки стоял на огне, и похвалил божолезское вино, которое они пили.

Ночь была мягкая. Аркадий вместе со своим ангелом-хранителем, Теофилом, князем Истаром и японским ангелом проводили Зиту до дому.

Глава XXXIII

*о том, как страшное злодеяние повергло в ужас
весь Париж*

Город спал. Шаги гулко раздавались на опустелых тротуарах. Дойдя до середины Монмартрского холма, на углу улицы Фетрие, маленькое общество остановилось у двери прекрасной архангельши. Аркадий толковал о Престолах и Властях с Зитой, которая, положив палец на кнопку, медлила звонить. Князь Истар концом трости рисовал на тротуаре чертежи новых снарядов и испускал мычание, будившее уснувших буржуа и приводившее в трепет соседних Пасифай. Теофиль Беле пел во все горло баркаролу, украшающую второй акт „Алины, королевы Голконды“. Морис, держа правую руку на перевязи, пытался фехтовать левою с японцем, выбил искры из мостовой, выкрикивая пронзительным голосом: „Задет!“

Тем временем на углу соседней улицы предавался мечтаниям бригадир Гроль. Он был широкоплеч, как римский легионер, и обладал всеми отличительными чертами той величественно раболопной расы, которая, с тех пор как люди стали строить города, охраняет империи и поддерживает династии. Бригадир Гроль был человеком сильным, но очень утомленным. Он страдал от тяжелой службы и скудного питания; человек долга, но все же человек, он не мог устоять перед соблазнами, чарами и обольщениями веселых девиц, которые встречались ему в темноте, на безлюдных бульва-

рах, на пустырях; он их любил. Он творил с ними любовь, как солдат, стоя, в амуниции; отсюда и его усталость, которая превосходила его силы. Не пройдя еще и половины жизненного пути, он уже подумывал о сладком отдыхе и мирном сельском труде. В эту мягкую ночь он мечтал на углу улицы Мюллера; мечтал о своем родном доме, об оливковой рощице, об отцовском участке земли, о согбенной долгой работой старухе-матери, которую ему не суждено было более увидеть. Пробужденный от грез ночным шумом, агент Гролле дошел до перекрестка улиц Мюллера и Фетрие и без всякой



благосклонности стал наблюдать за группой праздношатающихся, в которых его социальный инстинкт заподозрил врагов закона. Он был терпелив и решителен. После долгого молчания он сказал с грозным спокойствием:

— Проходите.

Но Морис и японский ангел фехтовали, ничего не слушая; музыкант погрузился в свои собственные мелодии, князь Истар весь ушел в формулы взрывчатых веществ, Зита с Аркадием обсуждали величайшее предприятие, подобного которому не было с тех пор, как солнечная система вышла из первобытной туманности, и никто из них не замечал происходящего вокруг.

— Я сказал: проходите,— повторил бригадир Гроль.

На этот раз ангелы слышали торжественное приказание, но то ли по рассеянности, то ли из пренебрежения не послушались и продолжали кричать, петь и рассуждать.

— Значит, вы желаете, чтобы вас арестовали? — взревел бригадир Гроль, схватив своей широкой рукой князя Истара за плечо.

Керуб, возмущенный грубым прикосновением, одним ударом своего страшного кулака отправил бригадира в канаву. Но агент Фезанде уже спешил на помощь к начальнику; они ринулись вдвоем на князя Истара, стали бить его размеренно и яростно и, бить может, несмотря на его силу и вес, они искровянили бы его и потащили в полицейский участок, если бы, прежде чем Аркадий, Морис и Зита успели вмешаться, японский ангел, без особенного усилия, не сбил их с ног одного за другим и не поверг в грязь, где они ревели и корчились. Что касается ангела-музыканта, то он трепегал в сторонке и зывал к небу.

В эту минуту два булочника, месившие тесто в ближайшем подвале, прибежали на шум, в белых юбках, голые по пояс. По инстинкту социальной солидарности они встали на сторону поверженных агентов. Теофиль ощутил при виде их настоящий ужас и убежал; они его догнали и хотели передать блюстителям порядка, но Аркадий и Зита вырвали его у них из рук. Борьба продолжалась, неравная и ужасная, между двумя ангелами и двумя пекарями. Силой и красотой, подобной Лизишпову атлету, Аркадий сдавил в своих объятиях тучного противника. Прекрасная архангельша ударила кинжалом булочника, который нападал на нее. По волосатой груди потекла черная кровь, и оба пекаря, сторонники закона, свалились на тротуар.

Агент Фезанде без чувств лежал ничком в канаве. Бригадир же Гроль приподнялся и, дав свисток, который должны были слышать на соседнем посту, бросился на молодого Мориса, но тот, будучи в состоянии защищаться только одной рукой, разрядил левую свой револьвер в агента, который поднес руку к сердцу, зашатался и упал. Он испустил долгий вздох, и вечная тьма застлала ему взор.

Тем временем окна открывались одно за другим, и головы высывались на улицу. Послышалось приближение тяжелых ша-

гов. Два полицейских велосипедиста показались на улице Фетрие. Тогда князь Истар бросил бомбу, которая сотрясла землю, погасила газ, разрушила несколько домов, скрыв в густом дыму бегство ангелов и молодого Мориса.

Аркадий и Морис решили, что после этого приключения самым надежным будет вернуться в квартирку на улице Рима. Было несомненно, что их отыщут не сразу, а возможно, что и никогда, так как бомба керуба, к счастью, уничтожила всех свидетелей происшествия. Они заснули на рассвете и еще спали в десять часов утра, когда привратник принес им чай. Кушая гренки с маслом и ветчиной, молодой д'Эпарвье говорил своему ангелу:

— Я думал, что преступление есть нечто необыкновенное. Оказывается, я ошибался. Это самое простое, самое естественное дело.

— И самое традиционное,— добавил ангел.— В течение долгих веков убивать и обирать людей было для человека делом привычным и необходимым. На войне это предписывается и по сие время. При определенных обстоятельствах даже почетно покушаться на человеческую жизнь: ведь все одобряли вас, когда вы хотели меня убить, Морис, потому что вам показалось, будто я состоял в близких отношениях с вашей возлюбленной. Но убивать бригадира— не дело порядочного человека из общества.

— Замолчи,— воскликнул Морис,— замолчи, негодяй! Я убил этого несчастного бригадира инстинктивно, не сознавая, что делаю. Теперь я в отчаянии. Но не я, а ты виновен, ты— убийца. Это ты увлек меня на путь восстания и насилия, который ведет в бездну. Ты погубил меня, ты принес в жертву своей гордыне и злобе мой покой, мое счастье. И без всякой пользы. Ибо предупреждаю тебя, Аркадий: тебе не удастся то, что ты затеял.

Привратник принес газеты. Заглянув в них, Морис побледнел. Крупными буквами возвещали они о злодеянии на улице Фетрие. Убиты: полицейский бригадир и два агента-велосипедиста; два подмастерья-булочника тяжело ранены, три здания разрушены, много жертв.

Выронив из рук газету, Морис сказал слабым и жалобным голосом:

— Аркадий, зачем ты не убил меня там, в версальском садике, среди роз, под свист дрозда?

Меж тем ужас овладел Парижем. На площадях и людных улицах хозяйки, с веревочными мешками в руках, бледнея, слушали повесть о преступлении и призывали на головы виновных самые жестокие кары. Лавочники у порогов магазинов обвиняли в злодеянии анархистов, синдикалистов, социалистов, радикалов и требовали специальных законов. Люди глубокомысленные видели в этом дело рук евреев и немцев и настаивали на изгнании иностранцев. Многие восхваляли американские нравы и советовали прибегнуть к суду Линча. К печатным новостям присоединялись зловещие слухи. Взрывы слышались в разных местах, везде находили бомбы. Повсюду рука народа обрушивалась на лиц, которых принимали за преступников, и их в истерзанном виде передавали в руки правосудия. На площади Республики народ разорвал на клочки пьяницу, кричавшего: „Долой сыщиков!“

Председатель совета министров, министр юстиции, совещался долго с префектом полиции, после чего они решили для успокоения возбужденного населения Парижа немедленно арестовать пять или шесть апашей из числа тех тридцати тысяч, которые кмеются в столице. Начальник русской полиции, признав в преступлении метод нигилистов, потребовал выдачи русскому правительству дюжины эмигрантов, что было немедленно исполнено. Равным образом были выданы несколько личностей для успокоения испанского короля.

Узнав об этих энергичных мерах, Париж вздохнул с облегчением, и вечерние газеты поздравили правительство. Сведения о здоровье раненых были превосходны. Они были вне опасности и признавали напавших на них во всех тех, кого к ним приводили.

Бригадир Гроль, правда, был мертв, но две сестры милосердия дежурили около него, и президент совета министров приехал возложить почетный крест на грудь этой жертвы долга.

Ночью были случаи паники. На авеню Восстания агенты заметили на пустыре фургон акробатов, который они приняли за приют бандитов, вызвали подкрепление и, когда их набралось достаточно, напали на повозку. Честные граждане присоединились к ним, произведено было пятнадцать тысяч револьверных выстрелов, фургон был взорван динамитом, и среди обломков нашли труп обезьяны.

Глава XXXIV,

в которой происходит арест Бушотты и Морриса, разгром библиотеки д'Эпарвье и отбытие ангелов

Морис д'Эпарвье провел ужасную ночь. При малейшем шуме он хватался за револьвер, чтобы не отдаться живым в руки правосудия. Утром он вырвал газеты из рук привратницы, жадно пробежал их и испустил крик радости: он прочел, что на теле бригадира Гролля, доставленном в морг после вскрытия, врачами были обнаружены только синяки и ссадины, весьма поверхностные, и что смерть произошла от разрыва сердечной аорты.

— Ты видишь, Аркадий,— воскликнул он с торжествующим видом,— ты видишь: я не убийца. Я невиновен. Я никогда не мог себе представить, до какой степени приятно быть невинным.

Потом он задумался, и, как это обычно бывает, размышление рассеяло его радость.

— Я невиновен. Но нечего скрывать от самого себя,— сказал он, качая головой,— что я причастен к шайке негодяев; я живу с бандитами. Ты в ней на своем месте, Аркадий, так как ты— субъект подозрительный, жестокий и порочный. Но мне, человеку из хорошей семьи, получившему превосходное воспитание,— мне это стыдно.

— Я тоже,— сказал Аркадий,— получил превосходное воспитание.

— Где это?

— На небе.

— Нет, Аркадий, нет, ты не получил воспитания. Если бы тебе вбили в голову принципы, ты бы их сохранил. Принципы никогда не утрачиваются. Я выучился с детства уважать семью, родину и религию. Я этого не забыл и никогда не забуду. Знаешь ли, что меня больше всего возмущает в тебе? Не порочность, не жестокость, не черная неблагодарность, даже не агностицизм, с которым еще можно кое-как примириться, и не скептицизм, уже вышедший из моды (ибо с момента национального пробуждения во Франции нет более скептиков),— нет! Что мне противно в тебе— это отсутствие вкуса, дурной тон твоих идей, отсутствие изящества в твоих доктринах. Ты рассуждаешь, как интеллигент, ты рассуждаешь, как

свободомыслящий, твои теории пахнут радикализмом, от них несет взглядами Комба и тому подобной мерзостью. Убирайся, ты мне противен!.. Аркадий, мой единственный друг, Аркадий, мой старший ангел, Аркадий, мой дорогой мальчик, послушайся своего ангела-хранителя: устуни моим мольбам, откажись от безумных идей, стань попрежнему добрым, простым, невинным, счастливым. Надевай шляпу, пойдем вместе в Нотр-Дам. Там мы помолимся и поставим свечку.

Меж тем общественное мнение было еще возбуждено; большая пресса, этот орган национального пробуждения, с настоящим подъемом и действительной глубиной раскрывала в ряде статей философию чудовищного преступления, возмутившего все умы. Подлинный корень и косвенные, но реальные причины его видели в безнаказанном распространении революционных доктрин, в ослаблении социальной узды, в распатанности моральной дисциплины, в постоянном апеллировании ко всем влечениям, ко всем вожеланиям. Чтобы пресечь зло в корне, необходимо было как можно скорее отказаться от химер и утопий вроде синдикализма, подоходного налога и т. д. и т. д. Многие газеты, даже из числа не лишенных значения, видели в участвовавших преступлениях естественные плоды неверия и полагали, что спасение общества заключается в единодушном и искреннем возврате к религии.

В воскресенье, последовавшее за преступлением, в церквях наблюдалось необычайное скопление народа.

Судья Сальнёв, производивший следствие, допросил сначала лиц, арестованных полицией, и запутался в соблазнительных, но ложных следах; переданный ему рапорт осведомителя Монтрмена направил его на верный путь и сразу помог признать в преступниках с улицы Фетрисе женских бандитов. Он приказал разыскать Аркадия и Зиту и отдал распоряжение об аресте князя Истара, которого схватили двое агентов, когда он выходил из квартиры Бушотты, где прятал бомбы нового образца. Керуб, узнав о намерении агентов, широко улыбнулся и спросил, есть ли у них хороший автомобиль. В ответ на их слова, что автомобиль ждет у подъезда, он заверил их, что ему больше ничего не надо. Немедленно тут же на лестнице он уложил обоих агентов, подошел к ожидавшему его автомобилю, бросил шофера под проезжавший мимо автобус и схватил руль на глазах потрясенной толпы.

В тот же вечер г-н Жонгур, комиссар полиции по важнейшим делам, проник в квартиру Теофиля в ту минуту, когда Бушотта глотала сырое яйцо, чтобы прочистить голос, так как вечером она должна была петь в „Национальном Эльдорадо“ свою новую песенку: „В Германии этого нет“. Музыканта не было дома. Бушотта приняла чиновника с гордым достоинством, искупавшим простоту ее наряда: она была в одной рубашке. Почтенный чиновник захватил партитуру „Алины, королевы Голконды“ и любовные письма, которые певица заботливо хранила в ящике ночного столика, так как любила порядок. Он уже собирался уходить, когда заметил стеновой шкаф; он небрежно открыл его и нашел снаряды, которыми можно было взорвать пол Парижа, а также пару больших белых крыльев, происхождения и назначения которых не мог себе объяснить. Бушотте было предложено закончить туалет, и, несмотря на крики, ее препроводили в полицию.

Г-н Сальнёв был неутомим. Рассмотрев бумаги, захваченные на квартире Бушотты, и руководствуясь указаниями Монтрмена, он отдал приказ арестовать молодого д'Эпарвье, что и было исполнено в среду 27 мая в семь часов утра с соблюдением величайшей предупредительности. Уже три дня, как Морис не спал, не ел, не любил, не жил. Он ни минуты не сомневался относительно причины нанесенного ему утреннего визита. При виде комиссара полиции неожиданное спокойствие охватило его. Аркадий не приходил домой почевать. Морис попросил комиссара подождать его, тщательно оделся и последовал за чиновником в стоявшее у подъезда такси. Он ощущал душевную ясность, которая только слегка омрачилась, когда дверь Консержери закрылась за ним. Оставшись один в камере, он взобрался на стол, чтобы взглянуть на улицу. Он увидел клочок голубого неба и улыбнулся. Причиной его спокойствия были: душевная усталость, притупленность чувств и отсутствие страха ареста. Несчастье придало ему высшую мудрость. Он чувствовал, как на него нисходит благодать. Он не возносился духом и не презирал себя чрезмерно, а просто предался воле божией. Не скрывая своих ошибок, которые ясно сознавал, он мысленно обращался к провидению с просьбой учесть то обстоятельство, что если он и пошел по пути преступления и бунта, то лишь для того, чтобы вернуть на путь истинный своего заблудшего ангела. Он растянулся на ложе и спокойно заснул.

Узнав об аресте певички и сына почтенных родителей, Париж и провинция были неприятно удивлены. Возмущенное трагическими картинами, нарисованными широкой прессой, общественное мнение требовало, чтобы закон привлек к ответственности злобных анархистов, погрязших в убийствах и поджогах, и не могло себе представить, чего ради полиция принялась за артистический мир и высшее общество. Председатель совета министров, министр юстиции, узнав эту новость одним из последних, подскочил на своем кресле, украшенном сфинксами, менее грозными, чем он сам, и, обуреваемый яростными мыслями, изрезал, по примеру Наполеона, перочинным ножом свой императорский стол красного дерева. И когда судья Сальнёв, призванный им, предстал пред его взором, председатель совета министров бросил свой перочинный ножик в камин, подобно тому, как Людовик XIV выбросил в окно свою трость в присутствии Лозена, и, с невероятным усилием сдерживая себя, сказал изменившимся голосом:

— Вы с ума сошли?.. Я, кажется, достаточно ясно указал, что заговор должен быть анархическим, антиобщественным, глубоко антиобщественным и антиправительственным, с оттенком синдикализма; я в достаточной мере выразил желание, чтобы его вместили в эти границы. А что сделали из него вы? Реванш для анархистов и революционеров. Кого вы арестовали? Певицу, любимую националистической публикой, и сына глубокочтимого члена католической партии, который принимает у себя наших епископов и вхож в Ватикан, человека, который со дня на день может сделаться посланником при папе! Вы одним махом отнимаете у меня сто шестьдесят депутатов и сорок сенаторов правой, да еще накануне запроса о религиозном примирении; вы ссорите меня и с сегодняшними, и с завтрашними моими друзьями. Не для того ли вы захватили любовные письма молодого Мориса д'Эпарвье, чтобы узнать, не наставил ли он и вам рога, как этому болвану дез-Обель? Могу вас на этот счет успокоить: вы рогаты, и весь Париж это знает. Но вы служите в суде не для того, чтобы вымещать свои личные обиды.

— Господин министр юстиции,— пробормотал, задыхаясь, судья, которому кровь бросилась в голову,— я честный человек.

— Вы болван... и вдобавок провинциал. Послушайте: если Морис д'Эпарвье и мадемуазель Бушотта не будут выпущены через полчаса на свободу, я вас в порошок сотру. Можете идти!

Рене д'Эпарвье сам поехал за своим сыном в Консьержери и привез его в старый особняк на улице Гарансьер. Возвращение было триумфом; пустили слух, что молодой Морис с благородной опрометчивостью принял участие в попытке восстановить монархию и что судья Сальнёв, подлый франкмасон, креатура Комба и Андре, пытался скомпрометировать мужественного молодого человека, связав его с бандитами. Таково, повидимому, было мнение г-на аббата Патуля, который отвечал за Мориса, как за самого себя. Кроме того, все знали, что, порвав с отцом, сочувствующим республике, молодой д'Эпарвье примкнул к крайнему реализму. Люди, хорошо осведомленные, усматривали в его аресте месть евреям. Ведь Морис был известным антисемитом. Католическая молодежь устроила кошачий концерт под окнами судьи Сальнёва, проживавшего на улице Генего, против Монетного двора.

На бульваре у здания суда группа студентов вручила Морису пальмовую ветвь.

Морис умилился при виде старого особняка, где прошло его детство, и, рыдая, упал в объятия матери. Этот прекрасный день был, к несчастью, омрачен одним тягостным событием. Г-н Сарьетт, потерявший рассудок после драмы на улице Курсель, внезапно впал в буйство. Запершись в библиотеке, он оставался там целые сутки, испуская страшные крики, и, невзирая на угрозы и просьбы, отказался выйти. Он провел ночь в необычайном возбуждении, о чем можно было заключить по свету его лампы, непрерывно двигавшейся за занавесками. Утром, услышав Ишполита, звавшего его со двора, он открыл окно в зале Сфер и Философов и запустил старому слуге в голову два или три увесистых тома. Вся прислуга — мужчины, женщины и мальчишки — сбежались во двор, а библиотекарь стал швырять в них целыми охапками книг. При создавшемся положении г-н Рене д'Эпарвье снизошел до личного вмешательства. Он появился в ночном колпаке и халате и попытался унять бедного безумца, но тот вместо ответа излил поток ругательств на человека, которого доселе почитал за своего благодетеля, и попытался похоронить его под всеми библиями, талмудами, священными книгами Индии и Персии, греческими и латинскими отцами церкви, святым Иоанном Златоустом, Григорием Назианином, блаженным Августином, святым Иеронимом, апологетами и „Историей изменений“ с пометками самого Боссюэта. Томы *in octavo, in quarto, in folio* без

всякого уважения летели во двор. Письма Гассенди, отца Мерсенна, Паскаля трепал ветер. Горничной, которая нагнулась, чтобы подобрать в канаве листы, угодил в голову огромный голландский атлас. Г-жа Рене д'Эпарвье, испуганная зловещим шумом, появилась, не успев накраситься. При виде ее ярость старика Сарьетта удвоилась. Пущенные со всего размаху, один за другим, бюсты поэтов, философов, историков древности: Гомера, Эсхила, Софокла, Еврипида, Геродота, Фукидида, Сократа, Платона, Аристотеля, Демосфена, Цицерона, Вергилия, Горация, Сенеки, Эпиктета,—падали и разбивались о плиты, на которых с ужасным грохотом погибли также обе сферы, земная и небесная, после чего наступила минута жуткой тишины, прерываемой лишь звонким смехом Леона, созерцавшего это зрелище в окно. Когда слесарь открыл дверь библиотеки и все обитатели дома вошли туда, их взорам предстал старик Сарьетт, который, загородившись грудой книг, разрывал на клочки „Дукреция“ приора Вандомского с собственноручными пометками Вольтера. Надо было проложить дорогу через баррикады. Но сумасшедший, увидев, что в его убежище проникли, убежал через чердак на крышу. В течение двух часов его вопли разносились далеко кругом. На улице Гарансьер скоплась все прибывавшая толпа, которая смотрела на несчастного и кричала от ужаса, когда он скользил по черепицам, трещающим у него под ногами. Вмешавшийся в толпу г-н аббат Патуль с минуты на минуту ожидал, что Сарьетт сверзится, шептал отходную и готовился дать ему отпущение грехов „in extremis“. Полицейские охраняли здание и следили за порядком. Вызвали пожарных, и вскоре раздался звук их рожков. Они приставили лестницу к стене дома и после ужасной борьбы схватили безумца, который при отчаянном сопротивлении повредил себе на руке мускул. Он был немедленно отправлен в больницу.

Морис пообедал в семейном кругу, и все растроганно улыбались, когда Виктор, старый дворецкий, подал жареную телятину. Г-н аббат Патуль, сидя по правую руку матери-христианки, с умилением созерцал эту благословенную небом семью. Тем не менее г-жа д'Эпарвье продолжала оставаться озабоченной. Она ежедневно получала анонимные письма, до такой степени грубые и оскорбительные, что сначала подозревала в них уволенного лакея, но потом узнала, что они исходят от младшей дочери Берты, совсем еще ребенка. Ма-

ленький Леон причинил ей также много забот и огорчений. Он совсем не учился и проявлял дурные наклонности. Он становился жестоким. Он оципал живьем сестриных чижиков; он утыкал булавками стул, на котором сидела мадемуазель Капораль, и украл четырнадцать франков у этой несчастной девушки, которая с утра до вечера только и делала, что плакала да сморкалась.

Как только обед кончился, Морис, торопясь повидать своего ангела, устремился в квартирку на улице Рима. Еще сквозь дверь он услышал гул голосов и в комнате, где произошло явление Аркадия, увидел собравшихся — Зиту, ангела-музыканта и керуба, который, растянувшись на кровати, курил огромную трубку, небрежно прожигая подушки, простыни и одеяло. Они обняли Мориса и сообщили о предстоящем отъезде. Лица у них сияли радостью и отвагой. Один лишь вдохновенный автор „Алины, королевы Голконды“ проливал слезы и возводил к небу испуганные взоры. Керуб насильно втянул его в партию восставших, представив на выбор — либо томиться в земных тюрьмах, либо идти с огнем и мечом на дворец Иалдаваофа.

Морис с грустью увидел, что земля стала для них уже почти безразличной. Они уходили в путь полные великой и оправданной надежды. Конечно, бесчисленному войску небесного султана они могли противопоставить лишь незначительные силы; но они рассчитывали возместить свою малочисленность несокрушимым натиском внезапного нападения. Они знали, что Иалдаваофа, кичащегося всеведением, иногда можно захватить врасплох. И в самом деле, надо думать, что без советов Михаила его бы забрали врасплох еще при первом восстании. Небесная армия нисколько не усовершенствовалась с победы над восставшими еще до начала времен. В смысле вооружения и техники она была столь же отсталой, как и марокканская. Генералы погрязли в изнеженности и невежестве. Осыпаемые почестями и богатством, они предпочитали веселье празднеств тяготам войны. Михаил, их генералиссимус, попрежнему честный и храбрый, с веками утратил пыл и отвагу. Наоборот, заговорщики 1914 года знали самые новые и совершенные применения науки к искусству разрушения. Наконец все было готово и определено. Армия восставших, организованная в корпуса по сто тысяч ангелов в каждом, собралась на всех пустынях земли: в степях,

пампасах, песках, льдах и снегах; она готова была ринуться на небо.

Ангелы, изменяя ритм составляющих их атомов, могут проникать сквозь самую разнообразную среду. Духи, спустившиеся на землю и состоящие со времени своего воплощения из субстанции весьма плотной, не могут более летать собственными силами. Чтобы подняться в эфирные пространства и там постепенно утратить плотность, они нуждаются в помощи своих братьев, восставших как и они, но пребывающих в Эмпирее и оставшихся не то что имматериальными (ибо все в мире материально), но изумительнейше тонкими и прозрачными. По правде сказать, не без томительного страха готовились Аркадий, Истар и Зита перейти из плотной земной атмосферы в светлые бездны неба. Чтобы окунуться в эфир, им нужно было развить такую энергию, что даже самые смелые из них колебались начать полет. Их субстанция, попадая в эту тончайшую среду, должна была сама утончиться и испариться и перейти от человеческих размеров к объему обширнейших облаков, когда-либо окутывавших земной шар. Вскоре затем они должны были превзойти величиною телескопические планеты, через орбиты которых им, невидимым и невесомым, предстояло пройти, не нарушая их течения. В этом напряжении, величайшем из всех, на какое только способны ангелы, их субстанция делается то горячее огня, то холоднее льда, что причиняет им страдания горше смерти.

Морис по выражению глаз Аркадия понял всю смелость и мучительность такого предприятия.

— Ты уходишь,—сказал он ему, рыдая.

— Вместе с Нектарием мы пойдем за великим архангелом, который поведет нас к победе.

— Кого ты так называешь?

— Священники демиурга говорили тебе о нем, клевета на него.

— Несчастный!—вздыхнул Морис.

И, закрыв лицо руками, он залился слезами.

ГЛАВА XXXV

и последняя, где разворачивается величественный сон Сатаны

Пройдя семь высоких террас, поднимающихся от крутых берегов Ганга к храмам, сокрытым в гуще лиан, пять ангелов по запущенным аллеям достигли заросшего сада, полного душистых гроздьев и обезьян-хохотунов, в глубине которого они нашли того, за кем пришли. Архангел полулежал, облокотясь на черные подушки, расшитые золотыми языками пламени. У ног его покоились львы и газели. Обвившись вокруг деревьев, ручные змеи смотрели на него приветливым взглядом. При виде ангельских посетителей лицо его затуманилось грустью. Еще в ту пору, когда, увенчанный, со скипетром из виноградной лозы, он поучал и утешал людей, сердце его не раз разрывалось от печали; но никогда еще, со времени его славного падения, на прекрасном лице его не лежало печати такой скорби и тревоги.

Зита рассказала ему о сонмах черных знамен, собранных во всех пустынях земного шара, и о грядущем освобождении, обдуманном и подготовленном в тех областях неба, где произошло первое восстание. И прибавила:

— Государь, войска ждут тебя. Веди же их к победе.

— Друзья,— отвечал великий архангел,— я знал цель вашего прихода. Корзины с плодами и медовые соты ждут вас в тени того большого дерева. Солнце заходит в розовые воды священной реки. Свершив трапезу, вы сладко уснете здесь в саду, где разум и наслаждение царят с тех пор, как я изгнал отсюда дух старого демурга. Завтра я дам вам ответ.

Ночь распростерла над садом свое синее покрывало. Сатана заснул, и ему был сон. И во сне, витая над землею, он увидел, что она покрыта восставшими ангелами, прекрасными как боги, и глаза их метали молнии. И от полюса до полюса вознесся к нему единый крик, слитый из мириадов криков, крик, полный надежды и любви. И Сатана сказал:

— Идем! Сразимся с нашим исконным врагом в его горнем жилище.

И он повел по небесным равнинам бесчисленную ангельскую рать. И был Сатана осведомлен о том, что происходило в то время в небесной твердыне. Когда весть о втором восстании дошла туда, отец сказал сыну:

— Непримирымый враг снова восстал. Подумаем об опасности и позаботимся о защите, чтобы не лишиться нам горней обители.

И сын, единосущный отцу, ответил:

— Мы победим знаменем, давшим победу Константину.

Негодование охватило Гору господню. Сначала верные серафимы стали сулить восставшим страшные муки; потом они задумались над тем, как их победить. Гнев, загоревшийся во всех сердцах, воспламенял лица. Никто не сомневался в победе, боялись только измены; шпионов и распространителей тревожных слухов обрекали на вечный мрак. Кричали, пели старинные гимны, восхваляли господа. Пили мистические вина. Отвага от излишнего напряжения могла вот-вот ослабнуть, и тайное беспокойство проникало в темные глубины души. Архангел Михаил принял высшее командование. Своим спокойствием он вселял уверенность в умы. Его лицо, отображавшее его душу, было полно презрения к опасности. По его приказу начальники громов, керубы, раздобревшие от долгого покоя, обходили тяжелой поступью стены священной горы и, обводя молниеносные тучи господни медленным взглядом своих бычьих глаз, пытались привести в готовность божественные батареи. Осмотрев укрепления, они поклялись всевышнему, что все готово. Стали обсуждать план действия. Михаил, как истый военный, высказался за нападение. „Это,— говорил он,— первое правило. Либо нападаешь ты, либо нападают на тебя. Середины нет“.

Кроме того, добавлял он, положение нападающих вполне соответствует горячности Престолов и Властей. Что касается остального, то ни одного слова нельзя было добиться от доблестного вождя, и это молчание казалось всем признаком уверенного в себе гения.

Как только неприятель был замечен, Михаил послал ему навстречу три армии под командой архангелов Уриила, Рафаила и Гавриила. Знамена восточных расцветок развернулись над эфирными полями, и молнии посыпались на звездную мостовую. Три дня и три ночи на Горе господней ничего не знали о судьбе возлюбленного и грозного воинства. На заре четвертого дня стали доходить смутные

и странные вести. Говорили о нерешительных победах, о сомнительных триумфах. Слухи о славных деяниях нарастали и рассеивались в течение нескольких часов. Уверяли, что молнии Рафаила, направленные на восставших, уничтожали их целыми эскадронами. Люди, хорошо осведомленные, утверждали, что войска, которыми командовала нечестивая Зита, погребены в вихрях огненной бури. Передавали, что неистовый Истар был низвергнут в бездну, перевернулся задом вверх так внезапно, что изрыгаемые его устами богохульства закончились самым позорным звуком. Всем хотелось думать, что Сатана, скованный алмазными цепями, снова погружен в бездну. А между тем от начальников трех армий не было никаких гонцов. К вестям о победе стали примешиваться глухие слухи, которые заставляли опасаться неопределенного исхода сражения и даже поспешного отступления. Дерзкие голоса утверждали, что один дух самой низшей категории, какой-то ангел-хранитель, ничтожный Аркадий, привел в смятение и опрокинул сияющую армию трех великих архангелов.

Говорили также о толпах перебежчиков из северного неба, где было поднято восстание до начала времен,— а кое-кто даже видел черные тучи нечестивых ангелов, которые присоединялись к восставшим армиям, сформированным на земле. Но добрые граждане не доверяли этим гнусным слухам и цеплялись за вести о победе, которые переходили из уст в уста, укрепляя и подтверждая одна другую. Высшие сферы огласились гимнами радости: серафимы восславляли на арфах и гусях бога громов Саваофа. Голоса избранных присоединились к голосам ангелов, слава незримого. При мысли об избииении, совершенном посланцами святого гнева, вздохи ликования вознеслись из небесного Иерусалима ко всевышнему. Но ликование блаженных, уже заранее доведенное до высших пределов, не могло более возрастать, и избыток радости сделал их нечувствительными.

Песнопения еще не умолкли, когда стража, стоявшая на стенах, заметила первых беглецов божественного воинства — ошипанных, летевших в беспорядке серафимов, искалеченных керубов, ковылявших на трех ногах. Бесстрастным взглядом князь воинства Михаил измерял величину разгрома, и его просветленный разум проникал в причины. Армии бога живого пошли в наступление; но вследствие одной из тех причин, которые на войне разрушают планы величайших военачальников, враги также пошли в наступление, и результаты

этого были налицо. Едва только ворота твердыни открылись, дабы принять славные и изуродованные остатки трех армий, как огненный дождь полился на Гору господню. Армии Сатаны еще не было видно, но топазовые стены, изумрудные купола и алмазные кровли уже рушились со страшным грохотом под действием электрофоров. Старые громовые облака пытались отвечать; но они действовали на слишком близкое расстояние, и их молнии терялись в пустынных равнинах неба.

Поражаемые невидимым врагом, верные ангелы покинули укрепления. Михаил пошел доложить своему богу, что через двадцать четыре часа священная гора будет во власти демонов и что повелитель мира может спастись только бегством. Серафимы уложили в ларцы драгоценности небесной короны. Михаил подал руку царице небесной, и божественная семья убежала из дворца через порфирные подземелья. Огненный потоп заливал цитадель. Вернувшись на свой боевой пост, доблестный архангел заявил, что ни за что не сдастся, и тотчас же велел поднять знамена бога живого. В тот же вечер восставшая армия вошла в трисвятой град. Верхом на огненном коне, Сатана вел своих демонов. Сзади него шли Аркадий, Истар и Зита. Как в мистериях Диониса, старый Нектарий ехал на осле. Позади них развевались черные знамена. Гарнизон сложил оружие перед Сатаной. Михаил опустил к ногам архангела-победителя свой пылающий меч.

— Возьмите ваш меч, Михаил,— сказал Сатана,— Люцифер возвращает вам его. Носите его для охраны мира и законов.

Затем, обратив взор к начальникам небесных фаланг, он воскликнул зычным голосом:

— Архангел Михаил, и вы, Власти, Престолы и Силы, клянитесь быть верными вашему богу.

— Клянемся!— ответили все в один голос.

И Сатана сказал:

— Власти, Престолы и Силы! Отныне я хочу помнить лишь непобедимое мужество, которое вы проявили в прошлых войнах, и вашу верность власти, что является порукой вашей верности мне.

На следующий день на эфирной равнине Сатана роздал войскам черные знамена, которые крылатые воины покрыли поцелуями и оросили слезами.

Сатана венчал себя богом. При венчании вокруг сверкающих стен небесного Иерусалима в бесконечной радости толпились апостолы, папы, девственницы, мученики, исповедники — все избранники, пребывавшие во время ужасной битвы в блаженном спокойствии. Избранные с восторгом взирали на низвержение во ад всевышнего и на восшествие Сатаны на престол господень. И согласно воле бога, воспретившего им скорбь, они на старый лад запели хвалы новому господу.

И Сатана, устремив пронизательный взгляд в пространство, смотрел на маленький шар из земли и воды, где когда-то насадил он виноград и создал первые трагические хоры. Он обратил свой взор на Рим, где низверженный бог некогда обосновал свое могущество хитростью и ложью. В то время святой муж управлял церковью. Сатана увидел, как он плакал и молился.

И он сказал ему:

— Я поручаю тебе супругу мою. Храни ее верно. Я вверяю тебе право и власть устанавливать догматы, учреждать таинства, создавать законы для сохранения чистоты нравов. И всякий верный обязан повиноваться им. Моя церковь вечна, и врата адовы не одолеют ее. Ты непогрешим. Ничто не изменилось.

И наследник апостолов почувствовал, как его заливают блаженство. Он пал ниц, уронив голову на плиты, и ответил:

— Господи боже мой, узнаю голос твой. Дыхание твое разлилось подобно бальзаму для моего сердца. Да будет благословенно имя твое. Да будет воля твоя на земле и на небесах. Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Сатане нравились и хвалы и возможность оказывать милость; он любил слушать, как превозносят его мудрость и могущество. Он радостно внимал песнопениям херувимов, славящих его благодеяния, ему перестала нравиться флейта Нектария, потому что она воспевала природу, признавала за насекомым и за былинкой их долю могущества и любви, говорила о радости и свободе. Сатана, некогда содрогавшийся всем телом при мысли, что скорбь владеет миром, — теперь чувствовал себя недоступным жалости. Он смотрел на страдания и на смерть как на счастливые последствия своего всемогущества и благодати. И кровь жертв дымилась перед ним, как приятный фимиам. Он осуждал знание и ненавидел любознательность. Он сам отказывался изучать что-либо из страха, как бы приобретения

им новых знаний не дало повода думать, что он не искони был всеведущ. Он полюбил тайну, боялся утратить свое величие, если его поймут, и потому притязал быть непостижимым. Непроницаемая теология туманила ему ум. Однажды, по примеру своего предшественника, он измыслил провозгласить себя единым богом в трех лицах. Увидев, что Аркадий улыбался во время этого провозглашения, он прогнал его с глаз своих. Уже давно Истар и Зита вернулись на землю. И века проходили, как секунды. Но вот однажды, с высоты своего престола он проник взглядом в самую глубину бездны и увидел Иалдаваофа в геенне, куда он вверг его и где сам долго томился. Иалдаваоф и в вечной тьме сохранил свою гордость. Почерневший, сломленный, грозный и величественный, он поднял ко дворцу царя небес взгляд, исполненный презрения, и отвернулся. И новый бог, внимательно посмотрев на противника, увидел, как скорбное лицо его озарилось мыслью и добротой. Теперь Иалдаваоф созерцал землю и, видя, что она погружена во зло и страдание, питал в сердце своем благие замыслы. Вдруг он поднялся и, рассекая эфир необъятными руками, как веслами, ринулся поучать и утешать людей. И уже огромная тень его закрыла несчастную планету тенью, столь же сладостной, как ночь любви.

Сатана проснулся в холодном поту.

Нектарий, Истар, Аркадий и Зита стояли подле него. Колибри пели.

— Товарищи,— сказал великий архангел,— нет, не будем завоевывать неба! Достаточно того, что мы можем это сделать. Война порождает войну, а победа—поражение. Победенный бог стал бы Сатаной, а побежденный Сатана—богом. Да хранит меня судьба от этой страшной участи! Я люблю ад, возрадивший мой гений, люблю землю, которой я принес немного добра, насколько это возможно в ужасном мире, где все живет убийством. Теперь, вашими стараниями, старый бог лишился земного владычества, и все, что мыслит на земном шаре, не хочет знать его или презирает. Что пользы, если люди не подчиняются Иалдаваофу, но дух его еще живет в них? Если, по подобию его, они исполнены зависти, насилия, раздора и алчности? Если они враги искусства и красоты? Что пользы, если они отвергли жестокого демиурга, но не слушают друзей своих, демонов, Диониса, Аполлона и Муз, несущих им истину? Что касается нас, небесных духов, высших демонов,—мы уже побе-

дили тирана нашего — Иалдаваофа, победив в себе невежество и страх.

Сатана обратился к садовнику:

— Нектарий, ты сражался вместе со мной до рождения мира. Мы были побеждены, потому что не поняли, что победа — дух и что только в нас, в нас самих должны мы сразиться с Иалдаваофом и истребить его.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Глава I</i> , содержащая в немногих строках историю французской семьи с 1789 года до наших дней	5
<i>Глава II</i> , в которой можно найти полсные сведения об одной библиотеке, где в скором времени произойдут удивительные события	9
<i>Глава III</i> , где начинается непонятное	15
<i>Глава IV</i> , в своей выразительной краткости отбрасывающая нас почти за пределы осязаемого мира	19
<i>Глава V</i> , в которой придел Ангелов в церкви святого Сульпиция дает пищу для размышлений об искусстве и богословии	22
<i>Глава VI</i> , в которой старик Сарьетт обретает свои сокровища	29
<i>Глава VII</i> , представляющая довольно большой интерес и содержащая мораль, которая, надеюсь, придется по вкусу большинству читателей, ибо она формулируется следующим горьким восклицанием: „Куда влечешь ты меня, мысль!“ А ведь всеми признано, что мыслить вредно и что подлинная мудрость заключается в том, чтобы не думать ни о чем	32
<i>Глава VIII</i> , где говорится о любви, что должно поправиться читателю, ибо повесть без любви — то же, что колбаса без горчицы: вещь нелепая	37
<i>Глава IX</i> , которая подтверждает слова одного древнегреческого поэта: „Нет ничего сладостнее золотой Афродиты“	44
<i>Глава X</i> , далеко превосходящая по смелости вымыслы Данте и Мильтона	46
<i>Глава XI</i> о том, как ангел, надев платье самоубийцы, покинул молодого Мориса, лишившегося своего небесного хранителя	53

<i>Глава XII</i> , где говорится о том, как ангел Мирар, несший благодать и утешения кварталу Елисейских полей в Париже, увидел певицу из кафешантана, по имени Бушотта, и полюбил ее	58
<i>Глава XIII</i> , где мы услышим прекрасную архангельшу Зиту, излагающую свои высокие замыслы, и увидим в стенном шкафу крылья Мирара, изъеденные молью	64
<i>Глава XIV</i> , в которой появляется керуб, трудящийся на благо человечества, и которая неслыханным образом заканчивается чудом с флейтой	69
<i>Глава XV</i> , где мы видим, что молодой Морис даже в объятиях своей возлюбленной скорбит об утрате ангела-хранителя, и где аббат Патуль отвергает мысль о новом восстании ангелов как ложную и суетную	76
<i>Глава XVI</i> , где по очереди выводятся на сцену исповидающая Мира, Зефирина и роковой Амедей и где на устрашающем примере г-на Сарьетта доказывается мысль Еврипида, что Юпитер отнимает разум у тех, кого он хочет погубить	83
<i>Глава XVII</i> , где говорится о том, что Софар, столь же жадный до золота, как сам Маммон, предпочел небесной родине Францию, благословенную землю Бережливости и Кредита, и где лишний раз доказывается, что имущий боится всяких перемен	91
<i>Глава XVIII</i> , где начинается рассказ садовника, в течение которого перед нами развернутся судьбы мира в рассуждении, столь же великолепном по широте взглядов, сколь узко и убого по своим воззрениям „Рассуждение о всемирной истории“ Боссюэта	96
<i>Глава XIX</i> . Продолжение рассказа	106
<i>Глава XX</i> . Продолжение рассказа	110
<i>Глава XXI</i> . Продолжение и копец рассказа	117
<i>Глава XXII</i> , где описывается, как в антикварной лавке было нарушено преступное счастье папаши Гинардона ревностью женщины, охваченной великой любовью	125
<i>Глава XXIII</i> , где обнаруживается изумительный характер Бушотты, сопротивляющейся насилью, но уступающей любви. Пусть не говорят после этого, что автор—женоненавистник	150
<i>Глава XXIV</i> , рассказывающая о превратностях судьбы, испытанных „Лукрецием“ приора Вандомского	134
<i>Глава XXV</i> , в которой Морис находит своего ангела	137
<i>Глава XXVI</i> . Сопещение	142
<i>Глава XXVII</i> , где раскрывается тайная и глубокая причина, весьма часто вызывавшая столкновения между импе-	

	риями, ведшая к разорению как победителей, так и побежденных, и где рассудительный читатель (буде таковой найдется, в чем я сомневаюсь) прызадумается над метким изречением: „Война — это коммерческое предприятие“	147
<i>Глава XXVIII</i>	посвященная тягостной семейной сцпе	153
<i>Глава XXIX</i>	где обнаруживается, что ангел, став человеком, ведет себя по-человечески, то есть желает жены ближнего своего и предает друга. Эта же глава покажет безупречное поведение молодого д'Эпарвье	156
<i>Глава XXX</i>	повествующая об одном деле чести и позволяющая судить, делаемся ли мы лучше, как это утверждает Аркадий, от сознания своих прошедших ошибок	161
<i>Глава XXXI</i>	вызывающая у нас изумление тем, с какой легкостью человек честный, робкий и кроткий может совершить ужасное преступление	163
<i>Глава XXXII</i>	в которой мы услышим флейту Нектария в кабачке Хлодомира	174
<i>Глава XXXIII</i>	о том, как страшное злодеяние повергло в ужас весь Париж	180
<i>Глава XXXIV</i>	в которой происходит арест Бушотты и Мориса, разгром библиотеки д'Эпарвье и отбытие ангелов	185
<i>Глава XXXV</i>	и последняя, где разворачивается величественный сон Сатапы	193

*Редактор Л. Д. Тарасов
Художественная редакция
М. П. Сокольников
Лит.-техническое наблюдение
В. В. Чешихина
Технический редактор
Л. А. Фрязинова*

*Сдано в набор 22.XI. 36. Под-
писано в печать 16.III. 37.
Тир. 10.300. Уполн. Главли-
та Б-9064. Зак. тип. № 1018.
Зак. «Ас» 243. Инд. А—1.
Бум. 72×110¹/₁₆. П. л. 25¹/₂.
У. а. л. 11,67*

*Фабрика книги «Красный
пролетарий». Москва,
Краснопролетарская, 16.*

*Цена Р. 8.00
Переплет Р. 2.00*

